

В. Г. Белинский

Письма (1841–1848)



Виссарион Белинский
Письма (1841–1848)

«Public Domain»

1841-1848

Белинский В. Г.

Письма (1841–1848) / В. Г. Белинский — «Public Domain»,
1841-1848

В книге собрана часть эпистолярного наследия В.Белинского.

© Белинский В. Г., 1841-1848

© Public Domain, 1841-1848

Содержание

1841	5
169. В. П. Боткину	5
<30 декабря 1840 г. – 22 января 1841 г. Петербург.>	5
1841, января 15	7
16 января	9
Января 22	13
170. А. Н. Струговщикову	16
<20–29 января 1841 г. Петербург.>	16
171. В. П. Боткину	17
1841, марта 1, СПб	17
172. В. П. Боткину	23
СПб. 1841, марта 13	23
173. Н. Х. Кетчеру	27
<Конец марта – начало апреля? 1841 г. Петербург.>	27
174. Н. А. Бакунину	28
<6–8 апреля 1841 г. Петербург.>	28
Апреля 8	32
175. В. П. Боткину	33
СПб. 1841, апреля 9	33
176. А. А. Краевскому	34
<9–10 апреля 1841 г. Петербург.>	34
177. А. А. Краевскому	35
<9–10 апреля 1841 г. Петербург.>	35
178. Д. П. Иванову	36
СПб. 1841, апреля 11	36
179. В. П. Боткину	38
<27–28 июня 1841 г. Петербург.>	38
Июня 28	39
180. П. Н. Кудрявцеву	44
СПб. 1841, июня 28	44
181. В. Ф. Одоевскому	46
<29 июня 1841 г. Петербург>	46
182. А. А. Краевскому	47
<18–19 июля 1841 г. Петербург.>	47
183. Н. Х. Кетчеру	48
СПб. 1841, августа 3	48
184. Д. П. Иванову	51
СПб. 1841, августа 25	51
185. Н. Х. Кетчеру	53
СПб. 1841. Августа 25	53
186. В. П. Боткину	54
СПб. 1841. Сентября 8	54
Конец ознакомительного фрагмента.	55
Комментарии	

В. Г. Белинский Письма (1841–1848)

1841

169. В. П. Боткину

**<30 декабря 1840 г. – 22 января 1841 г. Петербург.>
СПб. 1840, декабря 30**

Спасибо тебе, друже, за письмо – я даже испугался, увидев такое толстое послание, которое совсем не в духе твоей лениности.^[1] Спасибо за <...>!

Всё, что написал ты о Гёте и Шиллере, – прекрасно, и много пояснило мне насчет этих двух чудачков. Признаться ли тебе в грехе, а у меня кетчеровская натура, и я боюсь скоро сделаться К<етчеро>м: о Шиллере не могу и думать, не задыхаясь, а к Гёте начинаю чувствовать род ненависти, и, ей-богу, у меня рука не подымется против Менцеля, хотя сей муж и попрежнему остается в глазах моих идиотом. Боже мой – какие прыжки, какие зигзаги в развитии! Страшно подумать.

Да, я сознал, наконец, свое родство с Шиллером, я – кость от костей его, плоть от плоти его, – и если что должно и может интересоваться меня в жизни и в истории, так это – он, который создан, чтоб, быть моим богом, моим кумиром, ибо он есть высший и благороднейший мой идеал человека.^[2] Но довольно об этом. От Шиллера перехожу к Полевому, ибо кровь кипит, и если бы не 700 верст, я бы так и стукнул тебя по лысине.

Нет, никогда не раскаюсь я в моих нападках на Полевого, никогда не признаю их ни несправедливыми, ни даже преувеличенными. Если бы я мог раздавить моею ногою Полевого, как гадину, – я не сделал бы этого только потому, что не захотел бы запачкать подошвы моего сапога. Это мерзавец, подлец первой степени: он друг Булгарина, *protégé*¹ Греча (слышишь ли, не покровитель, а *protégé* Греча!), приятель Кукольника; бессовестный плут, завистник, низкопоклонник, дюжинный писака, покровитель посредственности, враг всего живого, талантливый. Знаю, что когда-то он имел значение, уважаю его за прежнее, но теперь – что он делает теперь? – пишет наыворот по-телеграфски, проповедует ту расейскую действительность, которую так энергически некогда преследовал, которой нанес первые сильные удары. Я могу простить ему отсутствие эстетического чувства (которое не всем же дается), могу простить искажение «Гамлета»,^[3] «ведь-с Ромео-то и Юлия из слабых произведений Шекспира»,^[4] грубое непонимание Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Марлинского (идола петербургских чиновников и образованных лакеев), глупое благоговение к риторической музе. Державина и пр. и пр.; но для меня уже смешно, жалко и позорно видеть его фарисейско-патриотические, предательские драмы народные («Иголкина» и т. п.), его пошлые комедии и прочую сценическую дрянь, цену, которую он дает вниманию и вызову ерыжной публики Александрынского театра, составленной из офицеров и чиновников; но положим, что и это можно извинить отсталостью, старостью, слабостью преклонных лет и пр.; но его дружба с подлецами; доносчиками, фискалами, площадными писаками, от которых гибнет наша литература, страдают истинные таланты и

¹ протеже (франц.). – Ред.

лишено силы всё благородное и честное, – нет, брат, если я встречу с Полевым на том свете – и там отворчусь от него, если только не наплюю ему в рожу. Личных врагов прощу, с Булгариным скорее обнимусь, чем подам ему руку от души. Ты знаешь, имеет ли для меня какое-нибудь значение звание человека, – и только скот попрекнет тебя купечеством, Кудрявцева и Красова – семинарством, Кирюшу^[5] – лакейством, но это потому, что ни в тебе, ни в них нет ни тени того, что составляет гнусную и подлую сущность русского купца, семинариста и лакейского сына; но почему же не клеймить человека его происхождением, когда в нем выразилась вся родовая гадость его происхождения? Нет, я с восторгом, с диким наслаждением читаю стихи:

Вот в порожней бочке винной
Целовальник Полевой,
Беспорточный и бесчинный.
Сталось что с его башкой?
Спесь с корыстью в ней столкнулись,
И от натиска сего
Вверх ногами повернулись
Ум и сердце у него.
Самохвал, завистник жалкий,
Надувало ремеслом,
Битый рюриковской палкой
И санскритским батожьем;
Подл, как раб, надут, как барин,
Он, чтоб кончить разом речь
Благороден, как Булгарин,
Бескорыстен так, как Греч.^[6]

Да, он подлец, по природе, и только ждал случая, чтобы снять с себя маску; переезд в Петербург был для него этим случаем. Не говори мне больше о нем – не кипяти и без того кипящей крови моей.^[7] Говорят, он недавно был болен водяною в голове (от подлых драм) – пусть заведутся черви в его мозгу, и издохнет он в муках – я рад буду. Бог свидетель – у меня нет личных врагов, ибо я (скажу без хвастовства) по натуре моей выше личных оскорблений; но враги общественного добра – о, пусть вывалятся из них кишки, и пусть повесятся они на собственных кишках – я готов оказать им последнюю услугу – расправить петли и надеть на шеи. Полевой мог бы с честью и пользой (для себя, семейства и общества) оканчивать свое поприще: сколько есть полезных предприятий литературных, которые только ждут у нас умной головы и искусной руки. А он пишет гнусные драмы и программы надувательных журналов в форме писем из провинции! Читал ли ты его (в «Северной пчеле») «Письмо из провинции», где так нагло, бесстыдно, халуйски надувает он глупую расейскую публику – это баранье стадо, перемешанное с частию козлов, телят и свиней?^[8]

Что до Кр<аевско>го, однажды навсегда: это не Полевой, не гений и не талант особенный; это человек, который из всех русских литераторов, известных и неизвестных, *один* способен крепко работать и поставить в срок огромную книжку; способен очень *талантливо* отваливать Греча, Булгарина или Полевого; имеет кое-какие живые интересы и кое-какие познания (заговори с ним о русской истории – и ты заслушаешься его); он в поэзии не далеко и не глубоко хватает, но зато не мешает другим (в своем журнале) действовать за него даже вопреки многим его понятиям и убеждениям; наконец – это честный и благородный человек, которому можно подать руку, не боясь запачкать ее, и который имеет справедливую причину почитать для себя унижением и позором быть даже в шапочном знакомстве

С знаменитыми,
Кнутом битыми,^[9]

Булгариным, Гречем, Кукольниковом и Полевым. О Боткин, если бы ты знал хоть приблизительно, что такое Греч:^[10] ведь это апофеоз расейской действительности, это литературный Ванька-Каин, это человек, способный зарезать отца родного и потом плакать публично над его гробом, способный вывести на площадь родную дочь и торговать ею (если б литературные ресурсы кончились и других не было), это грязь, подлость, предательство, фискальство, принявшие человеческий образ, – и этому-то существу, предался Полевой и, как Громобой^[11] с бесом, продал ему душу... И ты заступаешься за этого человека, ты (о верх наивности!) думаешь, что я скоро раскаюсь в своих нападках на него! Нет, я одного страстно желаю в отношении к нему: чтоб он валялся у меня в ногах, а я каблуком сапога размозжил бы его иссохшую, фарисейскую, желтую физиономию. Будь у меня 10 000 рублей денег – я имел бы полную возможность выполнить эту процессию.

1841, января 15

Тебе, Боткин, не привыкать стать к разным месяцам и годам в одном и том же письме моем. Сейчас получил я письмо от Кольцова – он пишет, как вы встречали новый год – ах, вы счастливыцы – у вас всё-таки есть минуты полного самозабвения, а я... Я встретил новый год у Одоевского – пил, и за то два дня меня, была страшная лихорадка. Кольцов пишет еще, что вы были у Полевого – а! вот откуда грянул на меня твой гром – уж подлинно не из тучи, а из навозной кучи. Ксенофонт меня не жалует – это понятно, и хотя у меня слишком мало общего с ним, но я его уважаю, как честного человека, а что касается до его возлюбленного братца, – тысячи ему дьяволов – плюю на него. Он отзывается обо мне умеренно, даже с некоторыми похвалами – экая бестия! Ну да чорт с ним.^[12] А кстати: и с мошенниками-то мошенничает: обещал в гнусный «Русский вестник» статей – уехал в Москву, да и был таков, а те волками воют. Видно, вперед взял деньги.

Теперь о втором пункте твоего письма – о К<атков>е. Признаюсь – огорошил ты меня! Я странная натура – никогда не смею высказать о человеке, что думаю, и часто натягиваюсь на любовь и дружбу к нему, чтобы примирить свое чувство к нему с понятием о нем. Твое суждение о К<атков>е *ужасно* верно. Я то же чувствовал, да не смел сказать себе самому. Из этого человека (я уверен в этом) еще выйдет человек, но пока он слишком кровяной и животен, чтоб быть человеком. Приехавши в Питер, он начал с высоты величия подсмеиваться над моими жалобами о ничтожности человеческой личности, столь похожей в общем на мыльный пузырь, и говорить, что в наше время об этом тужат только дрянные и гнилые натурашки; а через несколько недель запел мою же песню, только еще заунывнее и отчаяннее. Потом толковал мне, с видом покровительства, о необходимости провести по своей непосредственности резцом художнич<еским>, чтобы придать себе виртуозности. У меня странная привычка принимать в других самохвальство за доказательство достоинства, – я и поверил, что он – статуя, виртуознее самого Аполлона Бельведерского, да и давай плевать на себя и смиряться перед ним. Вообще он вел себя со всеми нами, как гениальный юноша с людьми добрыми, но недалекими, и сделал мне несколько грубостей и дерзостей, которые мог снести только я, которых нельзя забыть и о которых расскажу тебе при свидании. П<ананеву> с Я<зыковым> тоже досталось порядочно за то, что они не знали, как лучше выразить ему свое уважение и любовь. Не скажу, чтобы у меня с ним не было и прекрасных минут, ибо это натура сильная и голова, крепко работающая. Он много разбудил во мне, и из этого многого большая часть воскресла и самодеятельно переработалась во мне уже после его отъезда. Ясно, что немного прошло у него

через сердце, но живет только в голове, и потому от него пристаёт и понимается с трудом. Когда он с торжеством созвал нас у Кр<аевско>го и прочел половину статьи о С. Т<олст>ой, я был *оглушен*, но нисколько не наполнен, но сказал Комарову и прочим, что такой статьи не бывало на свете. Статья вышла. Питер ее принял с остервенением, что еще более придало ей цены в моих глазах. П<а>н<ае>в и Ком<а>р<о>в прямо сказали мне, что им статья не нравится, а последний, что он в ней, за исключением двух-трех действительно прекрасных мест, ничего не понимает. Я чуть не побранился с ним за это, хотя он и говорил мне, что в моих статьях всё понимает. Уже спустя довольно долгое время, я сам поусомнился, заметив, что ничего не помню из дивной статьи. Перечитываю, читаю – прекрасно, положу книгу – не помню ничего.^[13] Твое письмо довершило. Ты здесь не то, что я, ты человек посторонний. Не забудь, что мы с К<атковым> соперники по ремеслу, а я, по моей натуре, способен всегда видеть в сопернике бог знает что, а в себе меньше, чем ничего. Когда он изъявил желание писать о С. Т<олстой>, я не смел и думать взяться за это дело. Теперь каюсь, ибо вижу, что это чудное явление погибло для публики. Хочу написать для «Современника», да книги нет. Нащокин, говорят, передал для меня экземпляр К. Аксакову, а тот бог знает что сделал с ним. Не можешь ли ты похлопотать об этом деле?^[14]

В нем бездна самолюбия и эгоизму – и мы много развили в нем то и другое. Сперва держали его в черном теле, а с истории со Щ<епкиной> начали носить его в хлопчках – вот он и зазнался. Когда я не хотел ему дать в руки твоего письма, но прочел, что можно было прочесть, он не скрыл от меня своей досады и, забыв всякую деликатность, которая в делах такого рода должна строго соблюдаться даже между самыми искренними друзьями, спрашивал меня несколько раз, почему я не показываю твоего письма, а потом несколько дней пролежал, уткнувшись носом в подушку. Вспоминая теперь, как он жаловался мне на твою к нему холодность и нелюбовь и о впечатлении, которое тогда производили на меня эти жалобы и их манера, вижу ясно, что в нем оскорблялась не любовь, а самолюбие. Вспоминая об известной тебе моей истории с ним, ясно сознаю, что я тогда же видел то, чего никто не видел, и ты особенно, и что с другим кем у меня была бы невозможна подобная история, что он слишком бесчеловечно наслаждался плодами своей победы надо мною, что его ненависть после того, как всё объяснилось в его пользу, выходила из самого черствого эгоизма и что не он, а я жестоко оскорблен был. Да, Боткин, признаюсь в слабости, а и теперь иногда тяжело вспомнить об этой истории.^[15] Вообще этот человек как-то не вошел в наш круг, а пристал к нему. И он не мог войти: он для этого слишком молод, он еще только теперь страдает теми болезнями, которые мы или давно уже перестрадали, или к которым притерпелись, так что и не чувствуем их, как лошадь хому та и упряжи. Это важное обстоятельство – одновременность развития!

Да, много, много пятен в этой, впрочем, прекрасной натуре. Время образует ее. Есть натуры, трудно и туго развивающиеся – к таким принадлежит и натура нашего юноши. А между тем это натура полная силы, энергии, могучести, натура широкая, если еще пока не глубокая; он никогда не сделается ни пиетистом, ни резонером, ни сентиментальным шутом. Только он носит в себе страшного врага – самолюбие, которое при его кровавом, животном организме чорт знает до чего может довести его. Удивительно верно твое выражение «браводы субъективности»: это конек, на котором наш юноша легко может свернуть себе шею. Самолюбие ставит его в такое положение, что от случая будет зависеть его спасение или гибель, смотря куда он поворотит, пока еще время поворачивать себя в ту или другую сторону.

Я очень рад, что его мнение о К<етче>ре ложно: я ему и так не верил, но сила убеждения, с которою он говорил о нем, невольно смущала меня. Я всегда так думал о К<етче>ре, как ты пишешь о нем, и теперь вполне убедился в пристрастии юноши. Но я с тобою немного разойдусь во взгляде на последнюю историю юноши и на участие, которое принимал в ней *Нелень*.^[16] О первом не хочу писать, потому что письму конца не будет, – при свидании и поговорим, и поспорим, и подеремся, пожалуй. Что же <до> участия К<етче>ра, – то мне

очень не по сердцу эта роль цензора, этот стоицизм, который, если разложить химически, то и увидишь, что он состоит из неспособности к самым живым и лучшим обаяниям жизни, грубое непонимание того, что человеческое по преимуществу. Сверх того, К<етче>р циник духовный, и я по себе знаю, как глубоко может оскорбить он человека и не в таком шекотливом деле. Ты пишешь, что О<гарев> благороднейший человек, каких случалось тебе только встречать – я согласен с этим, но согласись и ты с тем, что О<гарев> – наседка, неспособная удовлетворить потребностям ни самой глубокой и духовной, ни страстной женщины, что он женился, сам не зная как, по своим абстрактным понятиям о любви и браке. За что же женщина должна умереть, всю жизнь принимая ласки мужчины и всю жизнь не зная, что такое ласки мужчины, которых так жаждет ее душа и сердце? Если наш юноша, по твоему мнению, неблагородно поступил с О<гаревым>, – то благородно ли поступил О<гарев> с *нею*? За что же ты некогда ругал С<еливановско>го и принимал участие в *Казначее*?^[17] Там было больше вины, ибо характер С<еливановско>го несколько не уменьшает его прав мужа. Я понимаю теперь, как Ж. Занд мог посвятить деятельность целой жизни на войну с браком. Вообще все общественные основания нашего времени требуют строжайшего пересмотра и коренной перестройки, что и будет рано или поздно. Пора освободиться личности человеческой, и без того несчастной, от гнусных оков неразумной действительности – мнения черни и предания варварских веков. Ах, Боткин, чувствую, что при свидании мы подеремся: письма мои не могут дать тебе и слабого намека на то, как ужасно переменялся я.

16 января

Ты поздравляешь меня, что я «вышел на широкое поле действительности, на животрепещущую почву исторической жизни» и что «и груди и душе моей будет легче». Отчасти это справедливо: искусство задушило было меня, но при этом направлении я мог жить в себе и думал, что для человека только и возможна, что жизнь в себе, а вышед из себя (где было тесненько, но зато и тепло), я вышел только в новый мир страдания, ибо для меня действительная и историческая жизнь не существуют только в прошедшем – я хочу их видеть в настоящем, а этого-то и нет и не может быть, и я – живой мертвец, или человек, умирающий каждую минуту своей жизни. Я теперь совершенно сознал себя, понял свою натуру: то и другое может быть вполне выражено словом *Tat*,² которое есть моя стихия. А сознать это значит сознать себя заживо зарытым в гробу, да еще с связанными назади руками. Я не рожден для науки, ни даже для того тихого кабинетного занятия любимыми предметами, которое так сродно твоей натуре. Да, я уже сказал себе: умирай – для тебя ничего нет в жизни, жизнь во всем отказала тебе. Что до женщины – это тоже грустная история. Знаю, как жалок, каким ребенком был я с моими мечтами о сочувствии и счастии любви, с моим детским обожествлением женщины, этого весьма земного существа; но что же получил я взамен утраченных теперь, глупых, но поэтических мечтаний? Новую пустоту в душе, как будто она и без того была не довольно пуста. Женщина потеряла для меня весь интерес, способность любить утрачена, узы брака представляются, не другим чем, как *узами*, а одиночество терзает, высасывает кровь капля по капле. Увы!

Забыло сердце нежный трепет
И пламя юности живой!^[18]

Осталось для меня в женщине только одно – роскошные формы, трепет и мление страсти, словом, осталась для меня только греческая женщина, а минна^[19] средних веков скрылась

² действие (нем.). – Ред.

навсегда. Не чувствуя в себе самом способности не только к вечной страсти, но и к продолжительной связи с какою бы то ни было женщиною, я не верю уже той любви, которая еще так недавно была первым догматом моего катехизиса. Авторитеты Пушкина и подобных ему натур еще более утвердили это неверие. Может быть, я еще и могу увлечься женщиною и любить ее, но не могу видеть в ней ничего больше женщины – существа по своей духовной организации слабого, бедного, жалкого. Красота еще владеет (в мечте) моею душою, но что такое красота? – Год, один год жизни *женщины*, от той минуты, как перестала быть *девушкою* и почувствовала, что она мать!.. Поневоле —

Без сожаленья, без участия
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты;
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти жалкой только жить;
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.
Иль ты не знаешь, что такое
Людей *минутная* любовь?
Волненье крови молодое!
Но дни бегут, и стынет кровь!
Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против усталости и скуки
И своенравия мечты!^[20]

Твоя история, Боткин, окончательно добила во мне всякую веру в чувство, может быть, потому, что я слишком верил действительности *вашего* чувства. И не грустно ли думать, что старик-то теперь торжествует?^[21] И не прав ли он всегда был, почитая долгом отца выдать дочь за мужчину и не почитая для этого нужным ничего, кроме того, что обоим нужно для произведения детей? Вот где жизнь смеется сама над собою и фантазия является злым демоном, коварным обольстителем, жестоким предателем человека! Скажи мне (хотя я этим вопросом и растравлю раны твоего сердца – но ведь и мне не легче делать его, как и тебе отвечать на него): что такое эта девушка, столь прекрасная, грациозная, столь обольстительная для сердца, полного любви, для духа, полного сокровищ духа? Что ж она, если не мечта? Прекрасен блеск семицветной радуги, прекрасно зрелище северного сияния, но ведь они не существуют в действительности, ведь они только обманчивые отражения солнца в атмосфере! Ведь действительность должна же быть мерою цены явлений духовного мира, как золото – вещей материальных? Иначе – что же жизнь, если не сон и не мечта? Ну для чего же существует эта девушка, и не вправе ли иная шлюха взглянуть на нее с чувством своего превосходства потому только, что она народила полдюжину ребят и тем действительно ознаменовала и легитимировала свое существование в действительности? Бедный мой Боткин, из последнего твоего письма (записки) ко мне я вижу, что ты глубоко страдаешь, – ты еще любишь ее и не можешь оторваться от этого плода на берегу Мертвого <моря>! Да, как бы ни было и чем бы ни кончилось твое чувство, но ты дорого заплатил за него – ты уже излюбил всю любовь свою, и другой для тебя не будет; как мужчина ты принес ей, как Молоху, в жертву всю жизнь, весь эфир жизни, все мечты о счастье, и можешь сказать ей:

Не увлекись молвою шумной: —

Убило светлые мечты
Не то, что я любил безумно,
Но что *не так* любила ты!^[22]

А она? —

Пускай она поплачет:
Ей это ничего не значит!^[23]

Она сменит одну мечту другою, и, может быть, что даже и полюбит кого-нибудь не в шутку. Пока же займет себя новою фантазиею. Чего доброго? (от женщины и это может случиться) может быть, вспомнит и меня, слыша иногда повторяемое мое имя, как слышала его не раз прежде, чем увидела меня, и будет обо мне думать и мечтать — до тех пор, пока и я не начну того же делать; тогда предложит мне свою дружбу и найдет для своих фантазий нового героя; а если я не пойму ее, то предастся безнадежной страсти. Это говорит не мое оскорбленное в прошедшем самолюбие, этого может не быть, но это возможно по «холодным наблюдениям ума и горестным замечаниям сердца», как сказал Пушкин.^[24] И между тем фантазия так тесно слита со всем существом ее, что мечта может давать ей роскошную жизнь и может убивать и убить ее. Кто бы ни был — я или другой и третий, но только не тот, кто бы мог сделать ее счастливою, с кем бы могла она осуществить в действительности всё богатство своей дивной натуры. Да, старик прав, как и все люди без внутренней жизни: для дочерей нужна не любовь, не сочувствие, а поп и венец. И я с этим соглашаюсь. Ты скажешь, лучше не жить совсем или жить в мечте, чем в грязной действительности. Оно по чувству-то так, да по опыту-то иначе. Муж В. Д<ьяков>ой — полено, а между тем он сделал ее матерью, и она в сыне своем нашла искупление всей жизни своей, для него хочет жить, и им мила ей жизнь. А будь-ко, вместо Дьякова, человек простой, но умный и благородный, как, например, наш Казначей, женись он на ней не по любви, а просто, как на хорошенькой, умненькой, доброй и образованной девушке, и видя в ней всю жизнь милую и добрую жену, не подозревая в ней феникса своего пола, — она была бы пресчастливейшая женщина и страстно любящая жена и мать.^[25] Кстати, о страстности: страстность непременно должна составлять основу существа женщины, и духовность должна только очеловечивать страстность — иначе женщина — радуга, заря, сильфида и плод с берегов Мертвого моря. И мне кажется, здесь-то Мишенька^[26] и напроказил. Черствая и холодная его натура чужда страсти и полна ума — вот этот-то ум и принял он за духовность и исказил прекрасное женственное существо, возбуждив в нем отвращение, как к грубой животной чувственности, ко всему живому, трепетному, страстному, без чего женщина есть совершенный призрак, а не живое существо.

Кольцов пишет ко мне, что ты опять прихилился.^[27] Ах, Боткин, если бы ты знал, как тревожит меня твое состояние и как мало я верю твоему выздоровлению. Будем смотреть на вещи просто и прямо, не обманывая себя, и сознаемся, что проснуться от детства для мужества, от счастья для блаженства, от мечты для действительности — выигрыш, но что проснуться от приятного сна для горькой действительности, от полноты счастья, хотя бы и детского, для пустоты и безверия в жизнь — обмен грустный, которому нечего радоваться! Пиши мне больше всего о своем состоянии. Поверишь ли: за тебя чувствую к ней какую-то враждебность и ненавижу женщину.

* * *

Сейчас прочел в письме твоём о Гёте и Шиллере – умнее и истиннее этого ничего не читал – просто не могу начитаться. Как хочешь, а вклею в статью под видом выписки из некоего частного письма.^[28]

* * *

О «Записках одного молодого человека»^[29] не хочу с тобою спорить, ибо не вижу никакой возможности ни согласиться с тобою, ни тебя согласить со мною. Ты просто несправедлив к нему как к лицу и не любишь его как личность. А для меня это – человек, один из тех, каких у нас, к несчастью, мало. Мне кажется, что ты всё ещё держишься прежнего взгляда на людей и видишь в них богов или свиней, тогда как обе эти крайности соединены бесконечно длинной цепью звеньев.

* * *

Насчет Гейне тоже остаюсь при своем мнении. То, что ты называешь в нем отсутствием всяческих убеждений, в нем есть только отсутствие системы мнений, которой он, как поэт, создать не может и, не будучи в состоянии примирить противоречий, не может и не хочет, по немецкому обычаю, натягиваться на систему. Кто оставил родину и живет в чужой земле по мысли, того нельзя подозревать в отсутствии убеждений. Гейне понимает ничтожность французов в мышлении и искусстве, но он весь отдался идее *достоинства личности*, и неудивительно, что видит во Франции цвет человечества. Он ругает и позорит Германию, но любит ее истиннее и сильнее всевозможных гофратов и мыслителей и уж, конечно, побольше защитников и поборников действительности как она есть, хотя бы в виде колбасы. Гейне – это немецкий француз – именно то, что для Германии теперь всего нужнее.^[30]

* * *

Размышляя о моих прошлых грехах, в числе которых ты так ложно полагаешь нападки на плюгавого сквернавца Полевого, – я вспомнил о моей ни на чем не основанной ненависти к С<еливановско>му (протоканалье). Из чего мы все вдруг взбеленились на него – разве и прежде мы знали его не таким, каким увидели его после? В нем много эгоизму, бездна самолюбия, маловато чести, нисколько благородства, он мелочен, сплетник, не может быть ничьим другом, а тем менее кого-нибудь из нас, но в нем много доброты природной, он умен, даже не без чувства, не без способности увлекаться (хоть на минуту) мыслию; а главное – он удивительно грациозен и достолюбезен во всех своих мерзостях – это <...> с проблесками человечности. Не его вина, если мы хотели видеть в нем для себя то, чем он ни для кого быть не может. Я бы теперь с удовольствием опять сошелся с ним. Я бы уж держал с ним ухо востро и не позволял бы ему забываться со мною – и мы были бы довольны друг другом. Знаешь ли, что я иногда с умилением вспоминаю о его субботах, куда вместе с порядочными людьми напозлали Воскресенские и прочие?^[31] Знаешь ли ты, что от одного такого вечера в Питере я бы целую неделю был счастлив? Уж не говорю о вечерах Ст<анкевича> и твоих и не требую их в Питере. О, боже мой, как хорошо я постиг Питер!

* * *

Не поверишь, как изумило меня в твоём письме известие о твоём <...> – теперь вижу, что ты мне истинный друг <...>

* * *

Пожалуйста, пришли мне несколько сводок перевода Каткова с оригиналом: я буду писать о «Ромео и Юлии» – так, знаешь, безусловные похвалы приятелю, будут похожи на беспристрастие Булгарина к Гречу.^[32]

Твоя статья получена,^[33] но прочту ее в печати, ибо не люблю читать твою руку (кроме писем), да и Краевский не дал бы, ибо она уже в типографии. Насчет «Отечественных записок» Кронебергу и Бакуниным будет сделано. О стихах Пушкина в альманахе нельзя и говорить обыкновенным человеческим языком, а другого у меня нет. Я понял их насквозь. Такого глубокого и грациозно-деликатного чувства нельзя выразить, как перечтя эти же самые стихи. Но каковы его «Три ключа» в 1 № «Отечественных записок»? – Они убили меня, и я твержу беспрестанно – «Он слаще всех жар сердца утолит».^[34] Каково стихотворение Лермонтова в 1 № «Отечественных записок»?^[35] Кстати об, «Отечественных записках»: 2 № будет несравненно лучше первого. В отделе наук две статьи – Джемсон и из истории меровингов Тьерри – что глава из исторического романа Вальтера Скотта! Из стихов: «Ночь» и другие Кольцова, «Соседи» и «Песня» Красова, новое стихотворение Лермонтова, присланное с Кавказа – «Пускай она поплачет, ей это ничего не значит», последние стихи этой пьесы насквозь проникнуты леденящим душу неверием в жизнь и во всевозможные отношения, связи и чувства человеческие. Еще стихотворение Пушкина; «Ночь» Кольцова, еще что-то его же; два стихотворения Красова – «Соседи» и «Песня». Повести опять подгадили: будет Гребенки – она, может быть, была бы и порядочна, да цензура наполовину исхельмовала, и совершенно произвольно. Беда с повестями, да и только! «Саламандра» Одоевского – <...> мнимофантастическая. Библиография будет по обыкновению недурна. Критика (стихотворения Лермонтова) – вышла у меня статейка живая, одушевленная, если не хитрая. Смесь будет отличная.^[36]

* * *

Января 22

Письмо мое остановилось за статьею – нынче только кончил и отнес Кр<аевско>му последние листы – с лишком двадцать листов довольно убористого письма!^[37] Теперь совершенно убедился я, что нет никакой возможности писать хорошо для журнала. Мне сдается, что моя статья недурна, – но это – *сыромятинна*, не выделанная, и повторения, и ненужного, лишнего много, и нет последовательности, соответствия между частями, выдержанности в тоне, многое сказано наудачу, необдуманно, многое выражено слабо, темно и пр. Дай мне написать в год три статьи, дай каждую обработать, переделать – ручаюсь, что будет стоить прочтения, будет стоить даже перевода на иностранный язык, в доказательство, что и на Руси кое-что разумеют и умеют человечески говорить; хорошо какому-нибудь Рётшеру издать в год брошюрку, много две. А тут напишешь 5 полулистов, да и шлешь в типографию, а прочие дуешь, как бог велит, а тут еще Краевский стоит с палкою да погоняет. Впрочем, и то сказать, без этой палки я не написал бы никогда ни строки: вот разгадка, почему твоя натура кажется непродуваемой

и ты считаешь себя неспособным к журнальной работе. Останься журнальная работа единственным средством к твоему существованию, ты писал бы не меньше меня и не надвинулся бы своей способности писать. Так созданы люди. Пушкин был великий поэт, но и вполнину не написал бы столько, если бы родился миллионером и не знал, что такое не иметь иногда в кармане гроша.

Я было недавно пришел в отчаяние от своей неспособности писать: вижу – есть мысль, глубоко понимаю, что хочу сказать, а сказать не могу – слова не повинуются, нужны образы, их не нахожу и поневоле резонерствую. Теперь мне это смешно, и я считаю себя счастливым, что, напоров листа 3 печатных, вижу, что в них есть страницы три порядочных. До образов ли тут, как валяешь к сроку? Завтра должен кончить побиение книжонок и театральных пьес^[38] – дня два погуляю, а там – огромную статью в «Науки» 3 № «О разделении поэзии на роды и виды» и критику – огромную – о Петре Великом, статья, которая лежит у меня на сердце, давит его и просится вон.^[39] Между тем (в это же время), надо *пробежать тридцать* томов Голикова да еще сочинения два, три о царствовании Алексея Михайловича, а там десятка полтора рецензий на книжонки, на театральные пьесы – вот тебе и образы, и последовательность, и пр. Нет, вижу, что надо отложить в сторону претензии и самолюбие и быть предовольным, если умный человек, прочтя мою статью, хоть и не найдет в ней больших хитростей, но не посчитет потерянным времени, которое она у него отнимет, и скажет, что прочел с удовольствием.

* * *

Чем больше читаю отрывки из «Фауста» (Струговщ<икова>, Веневитинова и др.), тем более уверяюсь, что это – величайшее создание мирового гения.^[40] О 2-ой части не говорю: явно, что она вышла из подгнившей рефлексии, полна аллегориями, но и в ней должны быть дивные частности. Поняла, наконец, что такое *рефлектированная* поэзия – великое дело! Мы не греки:^[41] греческий мир существует для нас, как прошедший (хотя и величайший) момент развития человечества, но он не может дать нам полного удовлетворения. Младенчество – прекрасное время, время полноты, но кому 30 лет, наскучит быть с одними детьми, как бы ни любил их.

* * *

Странное дело, несколько дней назад вдруг вижу во сне А<лександр> А<лександровну>;^[42] она промелькнула, как видение, но так ясно, на меня повеяло всем прошедшим, всею обаятельностью этого чудного фантастического существа, взор ее был печален, окрест ее всё было полно благоухания и грации. Я опять с ней помирился. И как теперь помню, рассуждаю сам с собою во сне: вот я писал к Боткину, что, пожалуй, от нечего делать зафантазирует и обо мне; нет, чорт возьми, как бы самому опять не задурить. И я живо почувствовал эту опасность. Ах, Боткин, мой Боткин, понимаю тебя и твое состояние... Рассуждать легко, а на твоём месте – да что и говорить...

* * *

Чем больше думаю, тем яснее вижу, что пребывание в Питере Каткова дало сильный толчок движению моего сознания. Личность его проскользнула по мне, не оставив следа; но его взгляды на многое – право, мне кажется, что они мне больше дали, чем ему самому.

* * *

Подбивай Кульчицкого писать для «Отечественных записок». Он мог бы – мне кажется – славные очерки нравов, рассказы легкие писать – это были бы жемчужины в «Смеси».^[43] Отчего бы не попробовать ему и повести – ведь Гребенка пишет же, и иногда очень недурные («Верное лекарство», «Кулик», по-моему, славные вещи^[44]), а между тем Гребенка преограниченное существо; тогда как наш Кульчицкий – человек. С его гумором, умом, чувством и хохлацкою наивною он мог бы выработать себе, что называется родом. Грановский, бедный, очень болен – боюсь я за него – он и так хил, а смерть Ст<анкевича> совсем доконала его. Неверов приехал в Питер, но, узнав о болезни Гр<ановского>, поскакал в Москву – то-то добрая душа. Красов прислал мне два письма – две похоронные песни всех надежд жизни, прощание с способностью любить!^[45] Увы! Всё это тяжело падает мне на сердце. Прощай. Письмо это надоело мне. Пора кончить. Завтра (23) шлю его в Москву – не знаю, когда-то ты его получишь. Твой

В. Белинский.

Поцелуй милого Казначая; вишь, плут, ускакал в Харьков, а что бы в Питере побывать.^[46]

170. А. Н. Струговщикову

<20–29 января 1841 г. Петербург.>

Может быть, и тут, что нужно мне, но ответ Фауста пропущен на странице, которую я нарочно загнул. Как бы то ни было, только сущность дела в том, что Мефистофель предлагает Фаусту одни наслаждения и радости, думая, что человеку ничего другого желать нельзя, но Фауст отвечает ему, что он хочет и страдания, и горя, и радости, и наслаждений – всего, что сродно человеческой натуре, чем живет всё человечество.^[47] Если припомните, где это, – очень буду рад; а нет – делать нечего. Во всяком случае Ваш всею душою

В. Белинский.

Раза три перечел Вашу тетрадь и еще хотел бы сто раз перечесть. Хор духов и речитатив Мефистофеля (мои дружки) чудо как хороши. Помогите Вам бог поскорее перевести всего «Фауста» – это будет перевод, а не то, чем плюнул на публику Губер.^[48]

171. В. П. Боткину

1841, марта 1, СПб

Сейчас получил письмо твое,^[49] любезнейший Василий Петрович, и сейчас же заставил себя отвечать на него. У меня есть гнусная привычка – писать много, подробно, отчетливо и пр. и пр. – этим я лишаю тебя удовольствия часто получать мои письма, а себя – часто беседовать с тобою, ибо писать много – надо время и большие сборы. Отрывок из «Hallische Jahrbücher»³ меня очень порадовал и даже как будто воскресил и укрепил на минуту – спасибо тебе за него, сто раз спасибо. Я давно уже подозревал, что философия Гегеля – только момент, хотя и великий, но что абсолютность ее результатов ни к <...> не годится, что лучше умереть, чем помириться с ними. Это я собирался писать к тебе до получения твоего этого письма. Глупцы врут, говоря, что Г<егель> превратил жизнь в мертвые схемы; но это правда, что он из явлений жизни сделал тени, сцепившиеся костяными руками и пляшущие на воздухе, над кладбищем.^[50] Субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом, ибо, пощеголяв в нем (в субъекте), бросает его, как старые штаны. Я имею особенно важные причины злиться на Г<егеля>, ибо чувствую, что был верен ему (в ощущении), мирясь с расейскою действительностью, хваля Загоскина и подобные гнусности и ненавидя Шиллера. В отношении к последнему я был еще последовательнее самого Г<егеля>, хотя и глупее Менцеля. Все толки Г<егеля> о нравственности – вздор сущий, ибо в объективном царстве мысли нет нравственности, как и в объективной религии (как, например, в индийском пантеизме, где Брами и Шива – равно боги, т. е., где добро и зло имеют равную автономию). Ты – я знаю – будешь надо мною смеяться, о лысый! – но смейся как хочешь; а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здоровья китайского императора (т. е. гегелевской *Allgemeinheit*⁴). Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лестницы развития, – а споткнешься – падай – чорт с тобою – таковский и был сукин сын... Благодарю покорно, Егор Федорыч, – кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, – я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братии по крови, – костей от костей моих и плоти от плоти моя. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии; может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии. Впрочем, если писать об этом всё, и конца не будет. Выписка из Эхтермейера порадовала меня, как энергическая стукушка по философскому колпаку Г<егеля>, как факт, доказывающий, что и немцам предстоит возможность сделаться людьми, человеками и перестать быть немцами. Но собственно для меня тут не всё утешительно. Я из числа людей, которые на всех вещах видят хвост дьявола,^[51] – и это, кажется, мое последнее мирозерцание, с которым я и умру. Впрочем, я от этого страдаю, но не стыжусь этого. Человек сам по себе ничего не знает – всё дело от очков, которые надевает на него не зависящее от его воли расположение его духа, каприз его натуры.

³ «Галльских ежегодников» (нем.). – Ред.

⁴ всеобщности (нем.). – Ред.

Год назад я думал диаметрально противоположно тому, как думаю теперь, – и, право, я не знаю, счастье или несчастье для меня то, что для меня думать и чувствовать, понимать и страдать – одно и то же. Вот где должно бояться фанатизма. Знаешь ли, что я теперешний болезненно ненавижу себя прошедшего, и если бы имел силу и власть, – то горе бы тем, которые теперь – то, чем я был назад тому год. Будешь видеть на всем хвост дьявола, когда видишь себя живого в саване и в гробе, с связанными назади руками. Что мне в том, что я уверен, что разумность восторжествует, что в будущем будет хорошо, если судьба велела мне быть свидетелем торжества случайности, неразумия, животной силы? Что мне в том, что моим или твоим детям будет хорошо, если мне скверно и если не моя вина в том, что мне скверно? Не прикажешь ли уйти в себя? Нет, лучше умереть, лучше быть живым трупом! Выздоровление! Да в чем же оно? Слова! слова! слова!^[52] Ты пишешь ко мне, что излюбил свою любовь? и утратил способность любви; Красов пишет о том же;^[53] я в себе чувствую то же; филистеры, люди пошлой непосредственной действительности, смеются над нами, торжествуют свою победу... О, горе, горе, горе!^[54] Но об этом после. Боюсь, что ты меня не утетишь, а я тебя огорчу.

Хорошо прусское правительство, в котором мы мнили видеть идеал разумного правительства! Да что и говорить – подлецы, тираны человечества! Член тройственного союза палачей свободы и разума.^[55] Вот тебе и Гегель! В этом отношении Менцель умнее Г<егеля>, а о Гейне нечего и говорить! (Кстати: Анненков пишет, что 8 томов Гейне в Гамбурге стоят 7 червонцев).^[56] Разумнейшее правительство в С<еверо>-А<мериканских> Шт<атах>, а после них в Англии и Франции.

Что касается до истории К<атко>ва,^[57] то, кажется, вижу теперь причину, почему мы не можем согласиться: я даже и от самого него мало знаю о ней, следовательно, не имею фактов для суждения. Что до Полевого, – согласен с тобою; но откуда же были у него во время оно энергия характера, сила воли?

В прошедшем я высоко ценю этого человека. Он сделал великое дело – он лицо историческое.^[58] Теперь о моей статье. Ты не понял, что я разумею под «слогом К<атко>ва». Это определенность, состоящая в образности. Я мог бы подкрепить это выпискою, но лень. Что до Кудрявцева, то миллион раз согласен с тобою насчет его слога; но тем не менее, спокойствие не для меня. Мне нужно то, в чем видно состояние духа человека, когда он захлебывается волнами трепетного восторга и заливают ими читателя, не давая ему опомниться. Понимаешь! А этого-то и нет, – и вот почему у меня много реторики (что ты весьма справедливо заметил и что я давно уже и сам сознал). Когда ты наткнешься в моей статье на риторические места, то возьми карандаш и подпиши: здесь бы должен быть пафос, но по бедности в оном автора, о читатель! будь доволен и риторическою водою. Но отсутствие единства и полноты в моих статьях *единственно* оттого, что второй лист их пишется, когда первого уже правится корректура. Рассуди сам, Боткин: какого чорта на это станет? Иногда и письмо, чтоб оно было поскладнее, надо просмотреть, перечеркнуть и переписать. В 3 № «Отечественных записок» ты найдешь мою статью^[59] – истинное чудовище! пожалуйста, не брани, сам знаю, что дрянь. Чувствую, что я голова не логическая, не систематическая, а взялся за дело, требующее строжайшей последовательности, метода и крепкой мыслительности. К<атко>в оставил мне свои тетрадки^[60] – я из них целиком брал места и вставлял в свою статью. О лирической поэзии почти всё его слово в слово. Вышло что-то неуклюжее и пестрое. Впрочем, – что же! Если я не дам теории поэзии, то убью старые, убью наповал наши реторики, пиитики и эстетики, – а это разве шутка? И потому охотно отдаю на поругание честное имя свое. Но вот что досадно до того, что я одну ночь дурно спал: свинья, халуй – семинарист Никитенко (иначе Осленко) вымарал два лучшие места: одно о трагедии; выписываю тебе его. После того, как я вру о «Ромео и Юлии» и вранье свое заключаю словами: «О горе, горе, горе!» – после этого вот бы что читал ты в статье, если бы не оный часто проклинаемый мною Подленко:^[61] «Нас возмущает преступление Макбета и демонская натура его жены; но если бы спросить первого, как он совершил свой злодейский

поступок, он, верно, ответил бы: «И сам не знаю»; а если бы спросить вторую, зачем она так нечеловечески ужасно создана, она, верно, бы отвечала, что знает об этом столько же, сколько и вопрошающие, и что если следовала своей натуре, так это потому, что не имела другой... Вот вопросы, которые решаются только за гробом, вот царство рока, вот сфера трагедии!.. Ричард II возбуждает в нас к себе неприязненное чувство своими поступками, унижительными для короля. Но вот Болингброк похищает у него корону – и недостойный король, пока царствовал, является великим королем, когда лишился царства. Он уходит в сознание величия своего сана, святости своего помазания, законности своих прав, – и мудрые речи, полные высоких мыслей, бурным потоком льются из его уст, а действия обнаруживают великую душу, царственное достоинство. Вы уже не просто уважаете его – вы благоговеее перед ним; вы уже не просто жалеете о нем – вы сострадаете ему. Ничтожный в счастье, великий в несчастье – он герой в ваших глазах. Но для того, чтобы вызвать наружу все силы своего духа, чтобы стать героем, ему нужно было испить до дна чашу бедствия и погибнуть... Какое противоречие и какой богатый предмет для трагедии, а следовательно, и какой неисчерпаемый источник высокого наслаждения для нас!..»^[62]

Второе место о «Горе от ума»: я было сказал, что расейская действительность гнусна и что комедия Грибоедова была оплеухой по ее роже.

А вот тебе ответ на письмо из Харькова, от 22 января^[63] (я человек аккуратный). Видишь ли ты что: я читаю в твоём сердце за 700 и за 1500 верст: я знал, с какими фантазиишками ты поехал в Харьков и с каким носом воротился оттуда – следовательно, в твоём письме по сей части ничего нового для меня нет. Чорт знает, должно быть, или мы испорчены, или поэзия врёт о жизни, клеветлет на действительность... но тс! молчание! молчание!..^[64] Знаешь ли: ведь я-то ещё смешнее тебя в рассуждении сего города, стоящего при реке Харькове и Лопати (кои впадают в реку Уды, а сия в Донец – см. «Краткое землеописание Российской империи», стр. 109), ведь я даже и не видел его, а между тем могу сказать, под каким градусом северной широты стоит он и *что в нем особенно примечательного*... но тс! молчание! молчание!.. Впрочем, хороши мы оба, и при свидании потешимся друг над другом.^[65] А между тем всё сие и оное весьма понятно: страшно скучно жить одному. Чтоб делать что-нибудь и не терзаться, я должен по целым дням сидеть дома; а то, возвращаясь к себе вечером и смотря на темные окна моей квартиры, я чувствую внутри себя плач и скрежет зубов... Ужасная мерзость жизнь человеческая!

Теперь о *Мисс Джемсон*: вот женщина-то! Только теперь понял, что такое гениальная женщина. О *Юлии* бесподобно, дивно, но *Офелия* всё заслонила и убила собою – лучшего по части критики я не читал ни во сне, ни наяву с тех пор, как – родился. Твой Рётшер – <...> перед этим очерком *Офелии*, сделанным женскою рукою, – педант, немец, филистер, гофрат. Джемсон бросила для меня свет и на характер Гамлета и на идею всей этой драмы – величайшего (т. е. субъективнейшего) создания Шекспира. Да, книга этой англичанки – жестокая оплеуха критическим колпакам немцев, не исключая и самого Гёте, который более всех – *живой* критик. Повторяю: как ни прекрасен очерк характера *Юлии*, но после *Офелии* не могу и помнить его и думать о нем. О боже великий – *Офелия*!.. Эпиграф из Пушкина кстати и многознаменателен. Но, любезный Боткин, переводом я не совсем доволен: он отзывается какою-то тяжело-ватостию, как будто делан с немецкого; короче: это превосходнейший перевод (критики) рётшеровой, но не Джемсон (женщины и англичанки) перевод.^[66] Немцы губят тебя, похоже на то, как они губят Каткова – я долгом поставлю предупредить тебя об опасности. Мое мнение разделяют все. Панаев высказал его еще прежде, чем я прочел статью. И знаешь ли что: не так досадно было бы видеть еще большие и важнейшие недостатки в переводе от слабого знания обоих языков, неумения или неспособности переводить, чем тот, о котором я говорю. Ты онемечил и *орётшерил* свой слог. Всего больше сбивает тебя с толку Рётшер.^[67] Ну, чорт возьми! выскажу же наконец, что давно кипит в душе моей. В этом человеке много духа – не спорю;

но в нем тоже много и филистерства. Он толкует всё одно и то же. Его уважение к субстанциальным элементам общества (родству и браку) для меня омерзительно. Ну скажи, бога ради, есть ли тут смыслу хоть на грош: вот ты, например, имел от своей гризетки ребенка, о котором забыл и не вспоминал – неужели же ты чудовище, вроде дочерей Лира? А брак, как видим мы его ежедневно? Им держится государство, но в лице толпы презренной, черни подлой. Как же он, сукин сын, хочет, чтоб я, не смеясь и не плюя в его филистерскую рожу, слушал, как он рассыпается в гимнах родству и браку? Всё, что есть, действительно, и всё, что действительно, есть разумно, да не всё то есть, что есть. Мой <...> и моя <...> *суть*, но я о них не говорил не только человечеству, даже расейской публике, хотя с ней только о подобных предметах и можно говорить. Твои и мои родители были обвенчаны в церкви божией, но мы с тобою тем не менее – незаконные дети, тогда как всякий сын любви есть законное дитя. Одним словом, – к дьяволу все субстанциальные силы, все предания, все чувства и ощущения, да здравствует один разум и отрицание! Французы – молодцы: у них брак – контракт в конторе нотариуса; квакеры – молодцы: у них священнослужение – проповедь в комнате; С<еверо>-А<мериканские> Штаты – идеал государства. Да здравствует разум и отрицание! К дьяволу предание, формы и обряды! Проклятие и гибель думающим иначе! Но об этом после – чувствую, что без драки не обойдется.

О Офелия, о бледная красота севера, голубка, погибшая в вихре грозы!.. Мочи нет – слезы рвутся из глаз. Стыдно – у меня теперь в комнате сидит *чиновник*, мой родственник – человек предания и субстанциальных стихий общества.^[68]

Ты пишешь, что ты плохой судья моих статей.^[69] Эта фраза облила мое сердце теплым елеем любви и счастья. Да, чорт возьми! строгих судей мы найдем себе, найдем и таких, которые полюбят нас за статьи, но которые любят статьи наши за нас, а нас за статьи наши – таких немного найдем. Пусть любовь к истине борется в нас с любовью к личности один другого, и да не побеждают совершенно ни та, ни другая сторона, и да будет благословен святой и вечный союз наш! Ты у меня один – верь, что и я у тебя один: это сознание много дает мне – оно не *всё*, но *нечто*, а без него было бы ровное *ничто*. Вот и третья неделя поста прошла – скоро праздник весны и праздник свидания. Расставшись детьми, встретимся если не мужами, то юношами, которые уже не шутя задумались над жизнью. Послушай: если ты умный человек, а не чорт знает что, ты, верно, сядешь в дилижанс на второй день праздника, в понедельник, а в четверг я обниму тебя! Правда? Ведь праздник самое скучное время – и что тебе в нем?

* * *

Перевод гётевской пьесы Кронеберга был бы прекрасен, если б не был испорчен словом *любящим*, вместо *любящим*. Как ты не заметил ему этого?^[70]

* * *

Вчера видел всю ночь Станкевича – будто он не умер, а только с ума сошел. Странное дело: вот уже во второй раз вижу этот нелепый сон.

* * *

Поклонись за меня Красову в ноги – я изгадил его пьесу «Соседи». Читаю и натываюсь на стих: «Ус крутой следя безбожно».^[71] – «Что за галиматья, Краевский?» – «Да у вас так». Смотрю – точно. Я часто и в чтении перевираю стихи, например, вместо: «И что *прощать* свя-

тое право *страданием* куплено тобой» я часто читаю: «И что *страдать* святое право *прощанием* куплено тобой».^[72] В письме же я беспрестанно делаю такие описки. Прости и помилуй, любезнейший Василий Иванович! Чувствую, что виноват, как свинья. В следующей книжке будет сделана поправка в опечатках. Кстати: скажи ему: писать и лень и некогда. В Питер ехать не советую – пропадет. На Од<оевского> надежда плохая, а на Жук<овского> и говорить нечего. В Москве его знают, а в Питере он не найдет и уроков.^[73]

* * *

А каковы новые стихи Лермонтова?^[74] Ведь решительно идет в гору и высоко взойдет, если пуля дикого черкеса не остановит его пути. Милому Кудрявцеву сто поклонов и сто проклятий: грех и стыдно ему забывать приятеля, который каждый день вспоминает о нем с любовью и умилением. Кетчеру жму крепко руку. Сто раз собирался поклониться Клыкову – и всё забывал, увлекаясь огромным и разнообразным содержанием моих нелепых писем, – за то 50 раз ему поклонись и 50 раз присядь.^[75] Что Лангер и его мальчики?^[76]

* * *

Не подумай, однако ж, чтоб я твой перевод находил дурным – говорю это не из приличия и деликатности, а из опасения, что ты не так поймешь меня. Твой перевод отзывается тяжеловатостию, потому что ему придан чуждый и не свойственный ему колорит, что тем досаднее, что я знаю, как бы ты мог перевести, и что ты один только и мог перевести как следует. Что твоя статья о Прометее? – она ужасно интересует меня.^[77] Не скажу, чтобы не хотелось прочесть Рётшера о Лире, но одна мысль о моральном духе, который у этого немца является как-то вместо нравственного, – охлаждает излишний жар хотения. А что я не совсем неправ – доказательство Бауман, поддевший его на критике о «Wahlverwandschaften»⁵ – именно на браке, т. е. на мнимой святости и действительности неразумного и случайного брака.^[78] Когда люди будут человечны и христианны, когда общество дойдет до идеального развития – браков не будет. Долой с нас страшные узы! Жизни, свободы!

* * *

А какой славный малый Сатин! Теплое сердце, благородная душа!^[79]

* * *

С Кольчугиным я провел – поверишь ли – несколько счастливых и прекрасных минут.^[80] Я знаю, что он из тех людей, у которых истина и поэзия сами по себе, а жизнь сама по себе; знаю, что в нем нет субъективности, елейности, безумия любви и шипучей пены фантазии, – но вместе с тем, какая здоровая натура, какой крепкий практический ум! Я его спросил, знает ли он стихотворения Лермонтова. «Я не читаю нынешних поэтов», – отвечал он. Я прочел ему «Думу» – боюсь взглянуть – думаю – вот скажет: «Да что же тут?»; а он сказал: «Да, это великий поэт». Читаю «Три пальмы» – при описании каравана у него слезы на глазах. Да, живя в Питере, научишься понимать и ценить таких людей.

⁵ «Избирательном сродстве» (нем.). – Ред.

* * *

Клюшников (И. П.) морит меня со смеху своими письмами. Что за дивное искусство не попадать, куда метится! Хвалит мою статью о Лермонтове и судит о ней, как будто совсем не о ней: говорит, что Л<ермонто>в в пьесе «И скучно и грустно» высказал сомнения, которые его, Кл<юшникова>, мучили в 1836 и пр. Мочи нет, как смешно. В этом человеке нет и тени способности непосредственного понимания предметов. Он всё делает чрез рефлексию (и притом онанистическую). Я над ним тешусь. Не покажет ли он тебе моего письма: право, забавно.^[81]

* * *

Что Грановский? Кстати: уведоь меня, что он – сердится на меня за что или просто не любит? Я о нем и расспрашиваю, и пишу, и поклоны посылаю, а от него себе не вижу ни ответа, ни привета. Скажи всю правду – я в обморок не упаду и скоропостижно не <...>, хотя, говорю искренно, – люблю и уважаю этого человека и дорожу его о себе мнением.

* * *

Прочел «Эгмонта»: дивное, благородное создание! Есть что-то шиллеровское в его основе.^[82]

* * *

Сейчас прочел в 1 № «Пантеона» очень хорошо набросанную биографию Шиллера – мочи нет – слезы восторга и умиления так и рвутся из глаз – сердце хочет выскочить из груди. – Что если бы ты из книги Гофмейстера составил бы хорошую, подробную биографию Шиллера!^[83] Великое было бы дело, и ты бы превосходно мог совершить его. А какая была бы польза для общества!

* * *

В «Смеси» 3 № «Отечественных записок» напечатаны (почти целиком) письма Анненкова из-за границы – прелесть! Я еще больше полюбил этого человека.^[84]

* * *

Ну да прощай – полно болтать – устал. Эх, кабы поскорей поболтать языком, а не пером.
В. Б.

172. В. П. Боткину

СПб. 1841, марта 13

Дражайший мой Василий, две писульки твои показали мне, что тебе приходится жутко.^[85] Это самое и требовало бы от меня немедленного ответа; но что станешь делать с самим собою – легче справиться с капризною кокеткою, чем с своею непосредственностью, которая нагло смеется над чувством, мыслию и волею. Притом же моя проклятая болтливость на письме: совестно и приняться за письмо в 10 строчек. Ты требуешь – не то, чтобы утешения, а чтобы я объяснил тебе собственное твое положение и указал на дорогу выйти из него, – да, требуешь, хоть, может быть, и бессознательно. Выскажу тебе прямо, как понимаю тебя, ее и всё дело. По моему мнению, вы оба *не* любите друг друга; но в вас лежит (или лежала) сильная возможность полюбить друг друга.^[86] Тебя сгубило то же, что и ее – *фантазм*. В этом отношении вся разница между вами – ты мужчина, а она девушка. Ты имел о любви самые экзотические и мистические понятия. Это лежало в самой твоей натуре, по преимуществу религиозно-созерцательной; Марбах и Беттина (от которых ты с ума сходил) развили это направление до чудовищности. И ты не совсем был неправ: такая любовь возможна и действительна (может быть даже – она самый пышный, самый роскошный цвет жизни нашей), но возможна и действительна как момент, как вспышка, как утро, как весна жизни: подобно столетнему алоесу, она распускается огромным, пышным, ароматическим цветом – лучшим цветом природы, но который зато цветет только раз в год, и притом только четыре часа. В этом, отношении ты прав был, думая, что любишь, ибо любил действительно, и притом такую любовь, к которой способны только благороднейшие натуры (чисто внутренние, субъективные, созерцательные). Но ты был неправ, думая, что такой любви мало вечности, не только жизни человеческой. Ты забыл, что «мы не греки и не римляне» и что нам «другие сказки надобны», как сказал Карамзин.^[87] У грека жизнь не разделялась на поэзию и прозу, и полнота его жизни не была конкрецией поэзии и прозы – полнота, которой пришествия должно ожидать новейшее человечество и которая будет его тысячелетним царством. Понимаешь ли ты теперь, что твоя *любовь* нисколько не рифмовала с *браком* и вообще с действительностью жизни, состоящею из поэзии и прозы, из которых каждая имеет на нас равно законные требования? Вот на чем срезался Станкевич,^[88] и вот на чем суждено было срезаться и тебе. Отсюда выходили твои экзальтированные понятия о брачных отношениях, где каждый поцелуй должен был выходить из полноты жизни, а не из рефлексии, и пр. Признаюсь, это мне всегда казалось страшною дичью, и я поэтому казался тебе и М<ишелю> страшною дичью. Но я был прав. Я понимал, что в жизни не раз придется спросить жену, принимала ли она слабительное и хорошо ли ее слабило, и не лучше ли ей, вместо слабительного, поставить клистир. Эта противоположность поэзии и прозы жизни ужасала меня, но я не мог закрыть на нее глаза, не мог не видеть, что она есть. Тебя это часто оскорбляло, и я внутренне презирал себя, видя, что ты, по крайней мере, не уважаешь меня. Что делать – тогда ни один из нас не хотел быть собою, ибо каждый хотел быть абсолютным (т. е. бесцветным и абстрактным) совершенством. Теперь мы умны; но дорого достался нам этот ум. Теперь я знаю, *за что* и *почему* ты дорог и необходим мне, и знаю, *за что* и *почему* я дорог и необходим тебе; ты это тоже знаешь. Ты хочешь видеть во мне меня, а в тебе – тебя. Но это в сторону. Итак, я очень хорошо понимал, что состояние влюбленного, состояние жениха – поэзия, чистая, беспримесная поэзия; а состояние женатого – ложка поэтического меду и бочка прозаического дегтю. Как ты ни будь осторожен, а всё же жена увидит тебя в подштанниках, а ты ее в юбке. Это случается и с любовниками, но там это – поэзия, ибо запрещенный плод. И потому я понимаю, что скорее к любовнице нельзя

пробираться ночью с мыслию: «Дай-ко потешу грешную плоть», чем к жене. Всегдашняя возможность и законность наслаждения – ужасная проза, которая вредит духу насчет плоти. Вот почему художники враги брака. Как понизились их отношения к любовницам или поохладела любовь – и конец старой связи и начало новой. В браке не то. Вспомни, что жена кормит грудью детей, что роды (особенно, если она слишком нежного сложения) уменьшают ее красоту, что много-много через пять лет – слава аллаху, если еще часто будет заходить в голову сия конкретная мысль: «Дай-ко схожу». Много мог бы я наговорить об этом; но ты сам голова умная, хоть и лысая, и дополнишь всё, чего я недосказал. Да, я это давно понимал; но, тем не менее, ты был прав, оскорбляясь моими понятиями об этом предмете: идеальность жила в твоём духе, кипела в твоей крови, была лучшим сокровищем, драгоценнейшим перлом твоей жизни – горе тому, кто не ценил его или смотрел на него не твоими глазами. Это не то, что М<ишель> Б<акунин>, который решил, что я пошляк, по моему выражению «спать с женою»: то идеальность скопца и онаниста. Да, любовь и брак – это вздор. Я теперь понимаю основную мысль «Ромео и Юлии», т. е. необходимость трагической коллизии и катастрофы. Их любовь была не для земли, не для брака и не для годов, а для неба, для любви, для полного и дивного мгновения. Я понимаю возможность, что они опротивели бы со временем друг другу. Не знаю, что собственно разумел Гегель под «разумным браком», но если я так понимаю его идею, то он – мужик умный.^[89] Любовь для брака дело не только не лишнее, но даже необходимое; но она имеет тут другой характер – тихий, спокойный: удалось – хорошо; не удалось – так и быть, не умирают, не делаются несчастны, но могут поискать себе и других пар. Рассудок тут играет роль не меньшую чувства, если еще не большую: могут входить в соображение и лета оной девицы, и здоровье ее, свои средства денежные, ее приданое и прочее, что не входит в расчеты любви. Жена – не любовница, но друг и спутник нашей жизни, и мы заранее должны приучаться к мысли любить ее и тогда, как она будет пожилою женщиною, и тогда, как она будет старушкою.

Итак, ты утратил не способность любви, а только способность той любви, которая бывает раз в жизни и больше не бывает. Ты теперь не любишь не потому, что не любил, а фантазировал, а потому, что любовь твоя совершила полный цикл свой, потому, что ты уже излюбил всю любовь свою. Готовься к новой любви; ищи новой любви; не можешь – думай о былой, но уже не думай воротить ее.

Что до *нее*, – право, не могу утвердительно решить, вопроса о ее чувстве к тебе, ибо не читал ее к тебе писем и вообще многого не знаю о ваших отношениях. Подозреваю, что любовь ее истинна в основании (как потребность), но ложна в проявлении, благодаря направлению, данному нашим доморощенным философом.^[90]

Теперь вопрос – что ж тебе делать? Душа моя, такие вопросы не решаются чужою головою. Однако скажу, как я понимаю это дело.

Некогда ты писал мне, что во мне нет *Entsagung*,⁶ и я чуть было не пришел в отчаяние, что у меня нет этой прекрасной вещи – даже думал, где бы прикупить оной или (к чему я более привык) признаться. У меня и теперь нет ни *Entsagung*, ни *Résignation*,⁷ – и я не хочу ни того, ни другого, не видя в них нужды. То и другое есть отрицание себя для общего, а я ненавижу общее, как надувателя и палача бедной человеческой личности. Но я думаю, что человеку надо быть *себе на уме* насчет жизни и больше всего опасаться придавать ей много важности. Ты тонешь в реке: удалось выплыть – хорошо, можно позаняться тем или другим, хоть пообедать лишний раз; тонешь – утешай себя мыслию, что всё равно, что равно глупо остаться жить, как и умереть. Чтобы наслаждаться жизнью, надо иметь в запасе несколько холодности и презрения к ней, и спешить на ее призывы и обольщения, как ехать с визитом к человеку, который очень нужен

⁶ отречения (*нем.*). – *Ред.*

⁷ покорности судьбе (*франц.*). – *Ред.*

и важен для тебя со стороны внешних обстоятельств, но с которым у тебя нет ничего общего, которого ты не любишь и не уважаешь за личный характер; и вот ты едешь к нему и думаешь: застану дома – хорошо, мои делишки поправятся; не застану – еще лучше, избавлюсь от неприятности дружески беседовать с неприятным для меня человеком. Одинаковая причина иногда рождает различные следствия: ежели, с одной стороны, минуты нашего бедного существования так кратки и подвержены надувательству, что нам надо быть осторожными в сколько-нибудь важных случаях, то, с другой стороны, жизнь наша так коротка и дрянна, что если мы будем гадать – чет или нечет, то она пронесется мимо носу, а мы останемся с четом или нечетом. Что до меня, – узнай я, что девушка (сколько-нибудь не совсем пошлая) так любит меня, что не может жить без меня, и будь при этом у меня обеспечение или у ней приданое – чорта ли тут думать – ведь всё равно, что одному зевать, что вдвоем. Но если бы я сам дал ей на себя какие-нибудь права, – то и толковать нечего, особенно, если навлек на нее внимание общества, говор толпы. И потому, мой милый Боткин, смотри, как обстоятельства установятся, и верь, что то и другое всё равно: не женясь, ты ничего не выигрываешь (ибо зевота не есть выигрыш) и ничего не проигрываешь (ибо не сковываешь себя); женясь, ты опять столько же рискуешь проиграть, сколько и выиграть. Через несколько лет не будет ни нас, ни костей наших, – и кому будет не лень и подумать о том, над чем ты теперь так много и крепко думаешь. Она – поверь мне – будет не та: проза жизни, особенно материнские обязанности и чувства сведут ее с облаков на землю, из пери сделают женщиною. Ты будешь славным и почтенным филистером. Ничего не требуя друг от друга, ничего не обещая один другому, вы полюбите друг друга просто и совсем другим образом, а привычка докончит дело. Впрочем, всё это я пишу на тот случай, что если ты увидишь себя в казусе – что надо жениться. Если же выйдет худо для нее так, что не в твоей воле будет сделать хорошо, – то не предавайся отчаянию и знай, что не твоя вина, потому что не твоя воля. Мы все глупы, думая, что мы можем быть правы или виноваты: мы только получаем награды и наказания, а делает за нас судьба. Но главное – не смотри на вещи слишком высоко, не придавай ничему слишком важного значения. Не должно делать себе из жизни какой-то тяжелой работы, хотя и не всегда должно жить, как живется.

Напрасно, мне кажется, решился ты избегать свидания и объяснения: надо б, напротив, искать того и другого, чтоб высказать всё, *что* есть и *как* есть. Бояться нечего: никто не виноват в том, *что* есть и *как* есть, если это *что* и *как* сделалось не по его воле. А между тем ты поступил бы прямо и честно, не дал бы повода *ей* к ложным заключениям и мучительным догадкам. Право, мне кажется, надо хоть написать к ней. Понимаю, что ты не любишь ее братьев: я сам не люблю их, исключая Николая, которого очень люблю, и Ильи, которого, по крайней мере, не не люблю. Кроме исключенных, все они какие-то скопцы и онанисты от природы, но всё-таки ты напрасно гнушаешься делать их своими орудиями, когда нужно. Нет нужды – по шее; нужны – иди к ним или посылай за ними.

Ну, вот я всё сказал, что хотел сказать. Если еще что недосказано – пиши: я отвечу тотчас же. Чорт возьми твое положение – мне страшно и в фантазии увидеть себя в нем, а между тем я немного и завидую тебе: мне кажется, что всё это лучше, чем мое протяжное и меланхолическое зевание. Вообще я теперь больше, чем прежде, подвержен *меллюди*: так завидую всякому развлечению.

Петровы от тебя в неистовом восторге, из чего я вижу, что они хорошие люди.^[91] Вот тебе и комплимент, за который ты должен прислать мне что-нибудь, хотя картинку (особенно *аретинского* содержания,^[92] к которым у меня развилась такая страсть, что хочу собирать коллекцию: надо же, душа моя, заняться чем-нибудь высоким, если светская чернь нас не понимает^[93]).

Ты меня заставил рассвирепеть фразою в письме из Харькова, что мы «скоро увидимся». Но случилось мне вскоре идти по дворцовой площади, и – о боги! – строят балаганы – значит, близко масленица и Боткин прав. Дни два назад опять иду, и – о Зевс многосоветный! – опять

строят балаганы, стало быть, Пасха на дворе, а ты ведь на 2-й или непременно на 3-й день праздника садишься в почтовую карету (билет возьми сейчас же, если еще не взял). Мысль о балаганах и паяцах слилась во мне конкретно с тобою (это острота, за которую следует мне с тебя получить еще скандалёзную картинку). Приехав в Питер (если не в четверг, то в пятницу на празднике), тотчас с чемоданом из почтовой конторы ко мне: я буду ждать. Кланяйся всем нашим – Красову, Кетчеру, Лангеру, Грановскому (сукину сыну, подлецу), Казначею,^[94] Сатину, Огареву, ну, и еще кто помнит меня.

Нового, слава богу, нет ничего, а старое всё хорошо, да мочи нет. Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его «Родина», – то, аллах-керим,⁸ – что за вещь – пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских.^[95] Панаев и Языков тебе кланяются. Языков всё бежит от самого себя, но как у него ноги кривы и плохи, и не может убежать. Прощай. Твой

В. Б.

⁸ да благословит тебя бог (араб.). – Ред.

173. Н. Х. Кетчеру

<Конец марта – начало апреля? 1841 г. Петербург.>

Здравствуй, любезный Кетчер. Благодарю тебя, душа моя, за моего полоумного брата.^[96] Дуралей не то худо сделал, что схватил шанкер (с одной стороны это даже похвально), а то, что скрывал его, и, если бы ты насильно не спас его, он погиб бы. Бога ради, не давай ему денег, не слушай о его нуждах, а более всего, не верь ему в том, что он будет говорить тебе худого об Д. П. Иванове. Сел мне брат на шею, у меня большая охота любить его, да он владеет каким-то особенным искусством отвращать меня от себя. Не оставь его, Кетчерушко, своими благими советами. Ты так добр, что во всяком готов принять участие, – вот почему я, не женируясь, обращаюсь к тебе.

Благодаря тебе я прочел 5 драм Шекспира (1-го часть «Генриха IV» по-французски). Перевод твой хорош; только в «Генрихе V», бога ради, измени сцену разговора Генриха с Катериною: она говорит у тебя, как немец пивовар, без всякой грации. Заставь ее ошибаться во фразах, а не ломать слова; возьми в образец язык Июньской Росы в «Патфайндере». Потом, замени непристойное слово «Катя» благородным словом «Кетти», Да замени везде нелепое слово «королевственный» словом «царственный».^[97] Вот тебе мое искреннее мнение о твоём переводе и дружеский совет, из которого сделай, что заблагорассудишь, хоть подотри им <...>.

Нелепый, обнимаю тебя – мне весело сказать тебе это. Я снова вышел на большую дорогу (только не для грабежа), и с нее уже не собьет меня и сам «Москвитянин». Теперь я понял и тебя. Мне смешно вспомнить о той «королевственности», с какою я некогда смотрел с высоты моего шутовского величия на твои самые человеческие убеждения.^[98] Ну, да к чорту это – кто старое помянет, тому глаз вон. Одно еще я должен сказать: ты победил меня! Довольно этого – остальное ты сам поймешь, и мне не нужно уверять тебя в моей любви, дружбе и уважении.

Мужайся, о Нелепый, и трудись. Твои скромные и благородные труды дадут свой плод. Только вот что: увидим ли мы твоего Шекспира в печати?

Прощай, друг Кетчер. Верно, ты в Москве увидишь Кони – он едва держится на ногах от тяжести лавров, которыми увенчали его «Пантеон», «Литературная газета» (удивительно изящное издание) и особенно «Пчела» статьею Булгарина.^[99] Прощай. Твой

В. Белинский.

Князь Козловский^[100] бьет тебе челом.

174. Н. А. Бакунину

<6–8 апреля 1841 г. Петербург.>

СПб. 1841, апреля 6 дня

Любезнейший мой Николай Александрович, вероятно, это письмо удивит Вас, как выходец с того света. Вероятно, Вы давно уже думаете, что я и забыл Вас и разлюбил, потому что не отвечаю на Ваше письмо, посланное Вами назад тому ровно год.^[101] Вы очень несправедливы ко мне, если можете так думать, но всё-таки я сам виноват в этой несправедливости. Что делать – лень, апатия, омертвление души и тела, хлопоты, беспокойства, нужды, нездоровье и тому подобные приятности жизни, которые судьба так щедро отпустила на мою долю, – вот причина моего молчания. Сто, тысячу раз собирался писать не к одному Вам, но ко многим, письма которых лежат у меня по полугоду и году и всё не могу, а между тем они меня мучат, не дают покою. Поверьте, милый мой *глуздырь*^[102] я полюбил Вас не от нечего делать, не от недостатка в знакомых и приятелях и не на час: где бы Вы ни были, сколько бы времени мы не видались, но всегда и везде я встречу с Вами, как с милым сердцу моему человеком, и братски обнимусь. Всё, что я говорил Вам о Вас же самих, – всё это я и теперь говорю. Поверьте мне, если моя натура и эксцентрическая и я тотчас разольюсь всякою мыслию и всяким чувством, которые западут в меня, из этого отнюдь не следует, чтоб я был опрометчив в моих привязанностях и мог обманываться в людях и переменять о них мнение. Нет, полюбив человека раз, я уже не могу от него оторваться. Лучшим доказательством этому может служить Ваш брат М<ишель>. Я наконец оторвался от него навсегда и больше не прилеплюсь к нему, но чего мне это стоило: почти трехлетней лихорадочной борьбы с самим собою. Нисколько не обижая его, скажу, что он сам виноват, если мы теперь только знакомы, и то по воспоминанию о прошедшем, и если встретимся на дороге жизни, то только по старой привычке будем говорить друг другу *ты*. Кстати: я получил от него письмо из Берлина (от 4 сентября прошлого года), письмо, полное искренности и добросовестности. Он обвиняет себя в прошедшем, говорит, что дорого дал бы, чтоб переделать его, что я был прав, называя его сухим диалектиком, ибо он в самом деле резонерствовал там, где надо было чувствовать, и пр.^[103] Но знаете ли что, любезнейший Николай Александрович, – это-то письмо, именно потому, что оно искренно и добросовестно, и показало мне, что мы разошлись навсегда и что прошедшего уже не воротить. Оставляя в стороне многое из того, что он делал со мною и с другими и о чем мне еще не так давно (Вы это помните) было тяжело и возмутительно вспомнить, а теперь скучно и неприятно думать, оставляя всё это в стороне, я увидел из самого этого письма, что в наших натурах лежит страшное противоречие, что исходные пункты нашей жизни враждебны. Я ему не отвечал и не буду отвечать. Да и для чего? Разве не написал я ему кипы писем (Вы читали их), писанных кровью моею, – и что ж? – и ни на одно из них не получил прямого и честного ответа, ответа на вопрос. Под прямым и честным ответом на вопрос я разумею: если виноват – виноват (и я был готов прощать и любить), а если прав – то вот-де почему. Во всякого рода сношениях, близких и далеких, я почитаю первейшим условием не умствование и рассуждение, даже не ум, не чувство, не гений, а прямоту и честность. Я тому только могу быть и другом, и приятелем, и хорошим знакомым, о ком могу хорошо думать, не как об уме, таланте и даже гении, а как о *характере*, за кого могу вступить и назвать порицателя клеветником. После этого вы легко согласитесь со мною, что я мог бы сойтись снова с М<ишелем> не иначе, как потребовав от него строгого отчета во многом, в чем (я уверен) он не захочет дать мне отчета. А то стоит ли портить желчь (и без того испорченную), кипятить кровь (и без того перекипевшую – и притом напрасно), тратить время и дорого платить за почту? Притом же

для меня много в поступках его (не с одним мною, а еще с *одним* и еще со многими) так всё ясно, что, право, у меня не станет ни интересу, ни силы, ни энергии, ни охоты затевать новую пустую историю, – тем более, что я хорошо чувствую и ясно сознаю, что могу жить, не желая с ним ни сойтись, ни встретиться, хотя я встречусь, если случится, без ненависти, если и без любви. Поэтому думаю, что и он так же в отношении ко мне. Извините меня за эти строки, которые, может быть, оскорбят Вас. Я без того в этом отношении много виноват перед Вами, потому что говорил слишком определенно и резко, – тогда как надо было дать Вам самому понять дело так, как бы Вы его поняли. Но это происходило оттого, что я многое брал слишком к сердцу. Что делать? – у меня такая несчастная натура: истерзанный, убитый, исколесованный собственными горестями, я еще могу терзаться и мучиться чужими. Примите эти строки даже не за желание завести с Вами переписку об *этом* предмете (видит бог – я далек от подобного желания); нет, мне просто хотелось дать Вам знать, в каких я нахожусь отношениях к М<ише-лю>, и тем избавить Вас от промаха писать ко мне о том, о чем у нас не может быть переписки, и насчет чего мы должны оставаться каждый при своем мнении. И Вы не бойтесь встретить в моих письмах хотя одно слово об этом предмете.

Увы! как много утекло воды с тех пор, как мы расстались с Вами! Вы не узнали бы меня, встретившись со мною. Лицо мое то же: апатическое всего чаще, бешеное и страстное иногда и одушевленное тихой грустью очень редко; всё так же резки его черты и так же некрасиво оно; но я, мой образ мыслей – нет, иной и в сорок лет не может измениться до такой степени! Как бы горячо прижал я к сердцу благородного П. Ф. З<аикин>а,^[104] как поняли бы мы теперь друг друга! Я мучил его моими дикими убеждениями, занятыми по слухам, у гегелизма, в котором и не перевернутом так много кастратского, т. е. *созерцательного* или *философского*, противоположного и враждебного живой действительности. Я имел перед ним много шансов в развитии и, подавляя его диалектикою и своим авторитетом, оскорбил в нем святейшие человеческие верования. Да, теперь уже не Гегель, не философские колпаки – мои герои; сам Гёте велик как художник, но отвратителен как личность; теперь снова возникли передо мною во всем блеске лучезарного величия колоссальные образы Фихте и Шиллера, этих пророков человечности (гуманности), этих провозвестников царства божия на земле, этих жрецов вечной любви и вечной правды не в одном книжном сознании и браминской созерцательности, а в живом и разумном *Tat*.⁹ Художественная точка зрения довела было меня до последней крайности нелепости, и я не шутя было убедился, что французская литература вздор, а о самих французах стал думать точь-в-точь, как думают о них наши богомольные старухи. Но это только одна сторона моего изменения, и сторона хорошая; есть другая сторона – грустная. Я уж не та экстагическая прекрасная душа, которая, обливаясь кровавыми слезами, избиваемая внутренними и внешними бедами, оскорбленная в самых законных и святых стремлениях и желаниях, клялась и уверяла всех и каждого, а вместе и себя, что жизнь – блаженство и что лучше жизни нет ничего на свете. Опыт сорвал покров с жизни – и я увидел румяна на очаровательных щеках этого призрака, увидел, что об руку с ним идет смерть и тление – противоречие. Она хороша для тех, для кого хороша, и только на то время, когда хороша. Для меня она никогда не была добра, и я бескорыстно курил ей фимиам, как Дон Кихот своей Дульцинее. Теперь полно быть дюпом.^[105] Было время, когда я не мог без бешенства слышать выражения сомнения о прочности и вечности любви на земле; мне было досадно встречать у Пушкина веселые похвалы непостоянству или горькие жалобы на слабость человеческого сердца; а теперь эти стихи Лермонтова – для меня то же, что для набожного мусульманина стихи из алкорана:

Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,

⁹ действия (нем.). – Ред.

Против усталости и скуки
И своенравия мечты?^[106]

Томясь попрежнему танталовскою жаждою любви, я в то же время никак не умею понять для себя возможности любить больше года женщину, как бы ни была она прекрасна и как бы ни любила меня. Да, мы все герои в известные лета жизни, когда бываем *глуздырями*, но, сделавшись людьми, сознаем свое ничтожество. Было время, когда женщина была для меня божеством, и мне как-то странно было думать, что она может снизойти до любви к мужчине, хотя бы он был гений; а теперь – это уже не божество, а просто – женщина, ни больше ни меньше, существо, на которое я не могу не смотреть с некоторого рода сознанием своего превосходства, которое основывается не на моей личности, а только на моем звании мужчины. Хороши и мы, но *они* еще лучше. Лучшие из них, без сомнения, те, которые способны осчастливить мужчину, слиться с ним и уничтожиться в нем без рефлексии, без раздела, со всею полнотою безумия, которое одно есть истинная жизнь. Но много ли таких? Они редки, как гении между мужчинами, и они-то всего чаще бывают непризнаны, и их-то всего менее способны мы понимать и ценить. Мотыльки, мы вьемся всё около зажженных свеч, обольщаемые коварным блеском огня. А другие, т. е. большая часть самых лучших-то? Эге! – скажу я, как хохол.^[107] Они тоже хорошо понимают нас: одной нужна перетянутая талия и черненькие усики, другой – ум, талант, гений, героизм, и почти ни одной – простое любящее сердце, здоровый, но не блестящий ум, благородство – словом, мужчина, которому доверчиво и беспечно могла бы она отдаться, на которого спокойно и уверенно могла бы опереться. Поэтому часто они не любят тех, которые их любят, и отдаются тем, которые их обманывают. Пушкин глубоко прав:

Чем меньше женщину мы любим,
Тем больше нравимся мы ей,
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.^[108]

К редкой из них (даже любящей или любившей, или думающей, что она любит или любила) нельзя применить этих стихов Лермонтова:

Пускай она поплачет:
Ей ничего не значит.^[109]

Сколько в жизни встречается прекраснейших женственных личностей в обладании у скотов, – и спросите каждую из них – редкая не сознается в том, что ее любил достойный человек, которого она отвергла. Да, как попристальнее и поглубже всмотришься в жизнь, то поймешь и монашество, и схиму, и желание смерти. Я часто желаю смерти, и мысль о ней уж более умиряет и грустно утешает меня, чем пугает и мучит. Всё ложь и обман, всё – кроме наслаждения, – и кто умен, будучи молод и крепок, тот возьмет полную дань с жизни, и в лета разочарования у него будет богатый запас воспоминаний. Есть наслаждение мчаться верхом на лошади, скакать на лихой тройке в санях, есть наслаждение сорить деньги, хорошо пообедать, временем выпить порядочно; но выше всего – женщина. <...> Я говорю по опыту: малого я не хотел, и лишился всего, и нечем помянуть юность. Назади и впереди – пустыня, в душе – холод, в сердце – перегорелые уголья, которые и в самовар не годятся.

Разгорался не раз,

2

Но в бесплодной тоске
Он сгорел и погас.^[110]

Да, ни одного образа, который бы я мог назвать *своим и милым*; я один в мире, мое сердце ни для кого не бьется, потому что для него не билось ни одно сердце.

Всем постылый, чужой,
Никого не любя,
В мире странствую я,
Как вампир гробовой.^[111]

Я очерствел, огрубел, чувствую на себе ледяную кору; я знаю, что живому человеку тяжело пробыть со мною вместе несколько часов сряду. Внутри всё оскорблено и ожесточено; в воспоминании – одни промахи, глупости, унижение, поруганное самолюбие, бесплодные порывы, безумные желания. Я никого, впрочем, не виню в этом, кроме себя самого и еще судьбы. Такова участь всех людей с напряженною фантазиею, которые не довольствуются землею и рвутся в облака. Мой пример должен быть для Вас поучителен. Спешите жить, пока живется. Любите искусство, читайте книги, но для жизни (т. е. для женщины) бросайте и то и другое к чорту.

Недавно был у меня Боткин. Непредвиденное обстоятельство (судебно-коммерческое дело) потребовало его личного присутствия в Питере в то время, как его мать и сестра были опасно больны. Приехал он ко мне в понедельник на шестой неделе поста и сказал, что если письма из Москвы будут хороши, то проживет до половины апреля. Дело его кончилось, письма всё становились благоприятнее; но вдруг – мать умерла,^[112] и в среду на Страстной неделе он поскакал в Москву, – и я как будто и не виделся с ним. Теперь его положение переменялось – на его руках огромное семейство, состоящее из детей мал мала меньше – надо образовать. Оставалась у него одна отрадная мечта – уехать за границу, и теперь он прикован. Так уничтожаются все мечты жизни, самые отрадны. Я так и не мечтаю о путешествии, хоть оно одно стоит мечтаний: моя участь ничего не надеяться, ничем не наслаждаться.

Кланяйтесь от меня Вашим сестрам. Память о них для меня всегда свята: с воспоминанием о них связано мое болезненное, страдательное развитие. Всё худое (в котором я один виноват) как-то убродилось, хотя иногда змейка воспоминания и больно еще жалит истерзанное сердце; всё хорошее (а и его было много) благодатною росой освежает мертвую душу. Это бывает редко, но зато минуты эти для меня отрадны, ибо я могу тогда страдать. Да, несмотря на всё, память о *них* переживет во мне всё и умрет последняя. И та жива в моей душе, которой уже нет,^[113] и та, которая далеко теперь от вас.^[114] Поручаю Вам испросить мне прощение (с личным коленопреклонением) у Т<атьяны> А<лександровны>, перед которою я был пошло виноват за мои о ней дикие понятия в известное Вам время.^[115] Правда, мое враждебное к ней чувство возникло не в сердце, но зашло в него из фантастического горшка Гофманова, но я тем не менее виноват: я должен бы знать, что какой бы ни был горшок, хотя бы фантастический и золотой,^[116] но из горшка доброго ничего нельзя взять, потому что все горшки наполняются дрянью. Я знаю, что Т<атьяна> А<лександровна> неспособна питать неудовольствия на человека, грубо не понявшего ее; но мне больно думать, что она и теперь может считать меня в числе людей, которые без зазрения совести могут упорствовать в нелепой ошибке насчет ее благородного, истинно женственного и любящего сердца. Я знаю, что теперь таких людей уж

больше нет, а те, которые были, горько раскаиваются в своем опрометчивом и неосновательном убеждении. Что делать? – люди всегда люди, и им всего труднее понимать вещи просто. Насчет этого предмета ожидаю от Вас скорого и подробного отчета. Хотя и не сомневаюсь в прощении, но всё-таки не могу не освободиться от какого-то беспокойства, потому что чувствую себя недостойным прощения. Каково здоровье А<лександры> А<лександровны>? Умеряйте ее любовь к дрянной тверской природе – о прямухинской не смею и говорить, ибо вполне убежден, что итальянская перед нею – ничто. Впрочем, осмеливаюсь думать, что как ни благодатна прямухинская природа, но с нею надо обращаться осторожнее, чем с итальянскою, хоть она и лучше последней, т. е. не мешает среди лета одеваться потеплее для вечерних прогулок. Впрочем, это больше любезность с моей стороны, чем совет.

Мое почтение Александру Михайловичу и Варваре Александровне.^[117]

Мой адрес: На Васильевском острове, во 2 линии, против Академии художеств, в доме Вема, квартира № 7.

Бога ради, пишите ко мне, а я, ей-богу, буду аккуратно отвечать. Прошу, милый офицер и молодой глуздырь, писать поразборчивее и (если можете) с знаками препинания, и с должным вниманием к роковым буквам *н* и *е*. Ваш всею душою и всем сердцем – Orlando furioso,¹⁰ <иначе>¹¹

В. Белинский.

Апреля 8

Языков и Панаев Вам кланяются. Они, особенно последний, часто и с любовью вспоминают о Вас.

Жалко, что остается так много белой бумаги. Видите, какие огромные письма пишу, и судите, чего мне стоит написать письмо. Привычка вторая натура – вся жизнь моя в письмах. Недавно заглянул в кипу моих писем, возвращенных мне М<ишелем>, и был поражен: боже мой, сколько жизни изжито, и всё по пустякам! И какую глупую роль играл я, как много было во мне любви и как мало благородной гордости! О молодой глуздырь, – не попархивай: смотрите на нас старичков и поучайтесь.

Ах, как бы мне хотелось увидаться с Вами в Питере, поспорить, побраниться, как живо я вижу теперь перед собою Вашу отвратительную физиономию, в которой, впрочем, мне кое-что и нравится, особенно улыбка. Как Ваша служба? Хороша ли наша действительная жизнь? – Ну, смотрите же: обо всем, обо всем, и как можно больше, а то рассержусь на Вас. Если не будете писать ко мне, я подумаю, что Вы разлюбили меня, а мне больно это думать, потому что я Вас люблю (и чорт знает, за что – ну, что в Вас? – и важности никакой – так – офицерик, дрянь, серная спичка, сосулька^[118]), как немногих любил. Ну да отвяжитесь от меня – что пристали? Прощайте. Э, да! и забыл было: прошу поподробнее известить меня о Ваших подвигах на поприще службы под знаменем Амура, как выражались любезники прошлого века: это для меня всего интереснее:

Я молод юностью чужой.^[119]

¹⁰ неистовый Орланд (*итал.*). – Ред.

¹¹ В автографе слово иначе вырвано; восстанавливается по копии Пытина.

175. В. П. Боткину

СПб. 1841, апреля 9

Вот и письмо от тебя, любезный Боткин, – ты в Москве, я в Питере, и словно мы с тобою во сне увиделись.^[120] Увы! Жизнь бежит от меня – в сердце пусто, в душе холодно, а извне словно кора ледяная лежит и не пропускает сквозь себя ни свету, ни теплоты солнечной. Ну – да чорт возьми всё это – надоело и говорить всё одно и то же. Твой приезд был для меня таким толчком, что и теперь не могу опомниться. Мне легко стало смотреть на Питер – даже улицы начинают нравиться. Странная натура: я до такой степени во власти моих религиозных убеждений и заблуждений, что смотрю на вещи сквозь цвет их стекла и под их влиянием зимний мороз готов принять за летний жар, и наоборот. Ну, да об этом после. Никак не думал я, чтобы письмо мое могло тебе понравиться;^[121] написав его, я был ужасно им доволен, а как ты приехал в Питер, оно мне казалось так глупо, что мне было стыдно и вспомнить о нем. Написал письмо и даже послал (8 апреля) к Н<иколаю> Б<акунину> в Тверь. Также к Каткову в Б<ерлин>, но еще не послал.^[122] Ну, брат, какую же ты комиссию навязал мне – я так и потерялся идти в аптеку^[123] – да я боюсь людей – и то, что вспомнил о Кирюше – и вот посылаю. Завтра отправлю Кошихина.^[124]

С чего ты взял, что не простился со мною?^[125] Я очень хорошо помню, что мы поцеловались с тобою счетом два, если не три раза. Ты был в себе, и как во сне видел всё вне тебя. Летом постараюсь побывать в Москве – употреблю все силы. Знаешь ли, кто теперь гостит у меня? Князь Козловский. Он всё тот же – не изменился нисколько.^[126] Только я теперь люблю его еще больше, потому что теперь понимаю его лучше. Благородный и простой человек! О тебе он говорит с религиозным чувством.

Очень тронули меня твои простые, прямо из сердца вылившиеся строки о приезде домой, об отце, детях, но говорить об этом ничего не могу.^[127] Укрепи тебя Христос на терпение и на святой подвиг. Тяжело и грустно, но и тут есть своя хорошая сторона: служа опорой дряхлому и слабому старику-отцу и малым детям, ты будешь иметь право иной раз с уважением взглянуть и на себя. Не всё же жить в себе – не мешает и выйти вовне – лишь бы стоило выходить, а тебе теперь и есть куда и есть зачем выходить из себя. Прощай, друг. Жму твою руку и обнимаю тебя. Все наши тобою интересуются – разумеется, всех больше Гефест хромоногий.^[128] Хорош Шевырев: Лермонтов подражает Бенедиктову и пр.^[129] Святители! Из моей несчастной статьи вырезан весь смысл, ибо выкинуто ровно половина.^[130] Прощай.

Твой В. Б.

Кланяйся всем, кто помнит меня.

176. А. А. Краевскому

<9–10 апреля 1841 г. Петербург.>

Уведомлять мне Вас о моем решении нечего – оно принято, и я на днях же принимаюсь кое за какие работы, хотя и не знаю, будет ли от этого какой толк. Делать (т. е. писать статьи) я решительно не могу потому, что для этого нужно сколько-нибудь спокойствия (внешнего), чтобы внутри не скребли кошки. С библиографией возиться – пожалуй. Только в таком случае (т. е. если денег (1727 р.) Вы решительно достать скоро будете не в состоянии) нам будет нужно перерядиться платою, ибо как я меньше буду работать, то мне меньше надо будет и получать от Вас. И потому прошу Вас об одном: как скоро Ваши надежды на заем рушатся, тотчас же уведомить. Что до Ваших 162 р., – то, конечно, без них мне нельзя будет переехать, на новую квартиру. От старой я болен – давлюсь кашлем, исхожу мокротою, ибо и с чаем и со щами ем алебастровую пыль.^[131] Какое действие произвела на меня очевидность не получить нужной мне суммы, о которой я Вам писал, – не говорю: это спокойствие отчаяния. Я Вас не виню, но всё-таки думаю, что если б Вы со мною с первым разделались еще в январе – это было бы с Вашей стороны великодушно, а для меня хорошо. В числе кредиторов, которые, может быть, и действительно были важнее меня, вероятно, были люди, для которых вексель на три тысячи имел бы какое-нибудь значение, тогда как для меня это бумага, годная только для известного употребления, почему у нас с Вами о ней не может быть и речи. Впрочем, это только мои догадки, которые, по моему незнанию дел этого рода, может быть, и нелепы. Как бы то ни было, но я теперь в таком положении, о котором лучше думать с самим собою, а другим нечего и говорить.

Посылаю Вам рецензию на «Душеньку».^[132] Всё остальное нынче пришлю.

В. Б.

177. А. А. Краевскому

<9–10 апреля 1841 г. Петербург.>

Вы не совсем понимаете меня, Краевский. Я отказываюсь от критики потому, что мне по причине безденежья некогда ею заниматься; следовательно, само собою разумеется, что я не могу писать обещанных статей, ибо что же бы другое, как не их, и стал бы я писать это лето, если б мог писать? Что до 3-ей статьи о Петре Великом,^[133] то хоть мне по состоянию моего духа и совсем не до нее, но, разумеется, что я ее буду писать, и потому месяц май, во всяком случае, будет у нас на прежних основаниях. Книги я буду разбирать *все* и *всякие*, какие пришлете, как было прежде; театр тоже останется попрежнему. А критики я не могу писать потому, что хочу (в надежде денег) составить историю Робинзона Крузо, переделать в книгу статью мою о детских книгах и т. п.^[134] Бога ради, поймите проще и правдивее мое решение: Ваше несостояние заплатить мне известную сумму следующих мне по 1-е апреля денег и цензурный гнет делают для меня критики ярмом невыносимым, а необходимость заняться другим для денег лишает меня и времени заниматься ими. Вот и всё. Неудовольствия у меня против Вас нет, и я увижусь с Вами, как и всегда. Но говорить с Вами об этом предмете не почитаю за нужное, 1-е, потому, что разговоры о деньгах для меня – пытка, 2-е, что больше и яснее того, что написал Вам, ничего и никак не могу. Если Вы в скорейшем времени достанете мне 1570 рублей, – я снова и еще с большим против прежнего усердием запрягусь¹² работать для «Отечественных записок» и, кроме того, что обязан буду делать по условию, буду давать и ученые статьи (которых несколько вертится у меня в голове), попрежнему не требуя и даже не *желая* за них особенной платы. Если нет – я по изложенным причинам не могу писать критик, ни новых, ни обещанных. Дело мое просто и чисто: если бы я сердился на Вас и хотел с Вами разойтись, – поверьте, я не погнался бы, за библиографию и театральную хронику, а безумия и гордости умереть с голоду у меня всегда станет. Понимаете ли Вы теперь, о чем я говорю? Повторяю – дело просто. Знаю, что я Вас мучу, поставляя в необходимость доставать деньги с трудом и хлопотами, и поверьте, мне совсем не сладко знать это; но я освирепел от нужды, как зверь: если бы какой покойник должен мне был хоть 10 рублей, мне хотелось бы вырыть его ногтями из могилы и, за деньги, оглодать его кости. Бога ради, похлопочите – я сочту это не за долг Ваш, а за услугу, и буду уметь быть за нее благодарным. До самой подписки Вы не услышите от меня ни полслова даже о рубле серебром. Но теперь мне не до самопожертвования. Посылаю последние рецензии и книги.^[135]

В. Б.

¹² Первоначально: примусь

178. Д. П. Иванову

СПб. 1841, апреля 11

Ты давно уже не пишешь ко мне, а я к тебе давно уже не пишу,^[136] любезный мой Дмитрий, и причина нашего обоюдного молчания, к сожалению, очень понятна мне ты не хочешь меня огорчать повторением одного и того же, а я не имел до сей минуты никаких средств переменить это *одно и то же*.^[137] Но, слава богу, теперь могу несколько поправить мои московские дела. Нынче или завтра ты получишь от Краевского записку на получение *семисот* рублей ассигнациями. Из них отдай *двести* рублей асс. Ивану Петровичу Ключникову и в получении возьми от него расписку и пришли ее ко мне; да спроси его, сколько я останусь ему еще должен. Далее: отдай весь долг Дарье Титовне:^[138] чай, который она получила от Боткина, пойдет за проценты, да, сверх того, купи ей (тоже в подарок за невольное терпение) фунт 8-мирублевого чаю и головку сахарку. Все остальные деньги пойдут на Никанора по твоему усмотрению. Ты даже и не говори ему, сколько прислал я для него денег, и вообще каждую копейку должен получать он из твоих рук, а всего лучше, если ты сам всё будешь покупать для него. Скажи ему, что я прислал не больше *восемидесяти* рублей и что надо изворачиваться как можно искуснее. Впрочем, оно и так придется поступать поискуснее и поэкономнее, ибо и 250 р. не чорт знает какая сумма. Главное дело устрой ему белье: купи дюжины две носков, чтоб он имел возможность переменять их решительно каждый день. Рубах (только не шей холстинковых и ситцевых – гадки, не прочны, и холстинные прочнее и лучше) и подштанников столько, чтоб он мог переменять непременно два раза в неделю. Также и носовых платков столько, чтоб он не имел нужды носить в руке или в кармане грязного, запачканного и вонючего платка. Опрятность прежде всего – это самое священное дело. Потом: сапоги, калоши. Последние тоже нужны для опрятности, да и сапоги с ними носятся дольше. Под калоши не забудь велеть подложить зеленого сукна. Наконец: манишки, галстук, перчатки и прочие мелочи. Что до платья, то как можно меньше: лучше починить и переделать старое, ибо если он поступит в университет, тогда надо же будет шить новое платье. Сверх того, я кое-чего пришлю из платья (штанов и жилетов). Чтоб только до экзаменов было в чем протаскаться да на экзамены в чем явиться. Сапоги и белье – дело другое: они не форменные и пойдут навсегда. Если нужно, купи ему тюфяк, подушку, одеяло, а если есть диван, то и не нужно. А всего лучше – диван купи, коли есть где поставить, такой, чтобы подымался и в него можно было класть подушку, лишние сапоги и прочую дрянь, а он сам заменял бы и диван и кровать. Из книг купи Кронебергов словарь^[139] – в Москве он печатается новым изданием. Церковную историю Иннокент<ия> и Фил<арета>^[140] я пришлю, а какие еще книги нужны, пришли реестр: присланный я отдал Полякову,^[141] а тот и пропал с ним. Гоняй Никанора решительно каждую неделю в баню. Купи ему гребешок, щетку и гребень. Летом пусть купается каждый день – это будет стоить 10 коп. за раз. Поддерживай его дух и, для бога и для меня, старайся с ним ладить. Похлопочи об орфографии – он и понятия о ней не имеет – это видно из его писем. Пиши попрежнему всю правду о нем – иначе ты поступишь со мною, как с врагом. Надеюсь летом (во время экзаменов) побывать у вас, и всё устрой: или он будет у тебя жить, как должно, или я разведу его с тобою. Потерпи немного – терпел много. Надо употребить последние усилия для спасения безумца: тебя наградит за это бог и твоя совесть. Во мне не сомневайся: моя уверенность к тебе безгранична, и я во всем верю тебе и во всем полагаюсь на тебя безусловно.

Ржевский здесь.^[142] Хорошо наградил его сиятельный-то: все эти господа и глупы и подлы донельзя – чорт с ним. Ржевский говорил мне о тебе много хорошего: он хвалит тебя и как

учителя, и как человека. Это меня порадовало. Насмешил он меня рассказом, как поддел тебя и заставил проболтаться, что ты женился.

Мои дела всё плохи. Тебе известно, какое ныне время,^[143] как все бедны деньгами и как (поэтому) плохи подписки на журналы. Впрочем, увидимся, переговорим обо всем поподробнее. А между тем ты всё-таки пиши ко мне обо всем и как можно подробнее. Что ты, как ты, твоё семейство, твои надежды? Что Леонора Яковлевна?^[144] Что твои птички? Твоя служба? И пр. и пр.

Если (по той причине, что нового платья не нужно будет шить) останутся деньги – возьми их себе на сохранение и употребляй на свои нужды, а после отдашь или по мелочи на него же в разное время употребишь.

Ну, больше писать нечего. Всем, кто помнит меня, кланяйся. Скажи Дарье Титовне, что много виноват перед нею и чувствую вину свою. Глупую расписку возьми у нее и пришли ко мне. Да намекни ей, что вот, мол, и расписка вышла из срока, а я всё-таки отдал долг, следовательно, расписка была не нужна.

Кстати: только что я написал половину письма, как Краевский прислал ко мне следующую тебе записку к Кони. Сходи с ней в контору «Отечественных записок», что у Кони, и отдай ему самому, получи деньги и дай в получении расписку.

* * *

Письмо мое к Никанору прочти сперва сам, а после отдай ему.^[145] Всё, что было, скажи мне без утайки: если он с минуты получения начнет новую жизнь, я старым и не попрекну его и как будто не буду и знать; но знать-то мне всё-таки нужно всё. Главное – какой эффект произведет на него¹³ мое письмо – замечай и уведомь.

Леоноре Яковлевне поклон чуть не до ног. Малюток твоих целую. Если к моему приезду изготовишь нового – я крещу; а то заочно. Алешу целую.^[146] Теперь у меня гостит князь Козловский. Он приехал в Питер искать должности.

Ну, прощай – жду с нетерпением ответа твоего на это письмо, рассчитываю по пальцам, когда ты должен будешь получить мое письмо. Не заставь же меня мучиться ожиданием. Каково идут дела нашего студента^[147] – не мешало бы ему написать мне письмецо.

В. Б.

¹³ Далее зачеркнуто: это

179. В. П. Боткину

**<27–28 июня 1841 г. Петербург.>
СПб. 1841, июня 27**

Давно уже, любезнейший мой Василий, не писал я к тебе и не получал от тебя писем.^[148] За 700 верст мы понимаем друг друга, как за два шага, и потому не претендуем на молчание. Помню, как-то раз ты писал ко мне, что наша дружба дает нам то, чего никогда бы не могло нам дать общество: мысль глубоко несправедливая, ложь вопиющая! Увы, друг мой, без общества нет ни дружбы, ни любви, ни духовных интересов, а есть только порывания ко всему этому, порывания неровные, бессильные, без достижения, болезненные, недействительные. Вся наша жизнь, наши отношения служат лучшим доказательством этой горькой истины. Общество живет известною суммой известных принципов, которые суть почва, воздух, пища, богатства каждого из его членов, которые суть одни конкретное знание и конкретная жизнь каждого из его членов. Человечество есть абстрактная почва для развития души индивидуума, а мы все выросли из этой абстрактной почвы, мы, несчастные анахарсисы новой Скифии.^[149] Оттого мы зеваем, толчемся, суетимся, всем интересуемся, ни к чему не прилепляясь, всё пожираем, ничем не насыщаясь. Сальное, но, к несчастью, верное сравнение: духовная пища, которую мы пожираем без разбора, не обращается в нашу плоть и кровь, но в чистое, беспримесное экскрементум. Мы любим друг друга, любим горячо и глубоко – я в этом убежден всю силу моей души; но как же проявлялась и проявляется наша дружба? Мы приходили друг от друга в восторг и экстаз, мы ненавидели друг друга, мы удивлялись друг другу, мы презирали друг друга, мы предавали друг друга, мы с ненавистью и бешеною злобою смотрели на всякого, кто не отдавал должной справедливости кому-нибудь из *наших*, – и мы поносили и злословили друг друга за глаза перед другими, мы ссорились и мирились, мирились и ссорились; во время долгой разлуки мы рыдали и молились при одной мысли о свидании, истаевали и исходили любовью друг к другу, а сходились и виделись холодно, тяжело чувствовали взаимное присутствие и расставались без сожаления. Как хочешь, а это так. Пора нам перестать обманывать самих себя, пора смотреть на действительность прямо, в оба глаза, не щурясь и не кривя душою. Я чувствую, что я прав, ибо в этой картине нашей дружбы я не затемнил и ее истинной, прекрасной стороны. Теперь посмотри на нашу любовь: что это такое? Для всех это радость, блаженство, пышный цвет жизни, – для нас это труд, работа, тяжелая скорбь. Везде богатство и роскошь фантазии, но во всем скудость и нищета действительности. Ученые профессора наши – педанты, гниль общества; полуграмотный купец Полевой дает толчок обществу, делает эпоху в его литературе и жизни, а потом вдруг ни с того ни с сего позорно гниет и смердит.^[150] Не знаю, имею ли я право упомянуть тут и о себе, но ведь и обо мне говорят же, меня знают многие, кого я не знаю, я, как ты мне сам говорил в последнее свидание, *факт русской жизни*. Но посмотри, что же это за уродливый, за чудовищный факт! Я понимаю Гёте и Шиллера лучше тех, которые знают их наизусть, а не знаю по-немецки, я пишу (и иногда недурно) о человечестве, а не знаю даже и того, что знает Кайданов.^[151] Так повинить ли мне себя? О нет, тысячу раз нет! Мне кажется, дай мне свободу действовать для общества хоть на десять лет, а потом, пожалуй, хоть повесь, – и я, может быть, в три года возвратил бы мою потерянную молодость – узнал бы не только немецкий, но и греческий с латинским, приобрел бы основательные сведения, полюбил бы труд, нашел бы силу воли. Да, в иные минуты я глубоко чувствую, что это светлое сознание своего призвания, а не голос мелкого самолюбия, которое силится оправдать свою лень, апатию, слабость воли, бессилие и ничтожность натуры. Обращусь к тебе. Ты часто говорил, что не можешь, ибо не призван, писать. Но почему

же ты пишешь и притом так, как немногие пишут? Нет, в тебе есть всё для этого, всё, кроме силы и упорства, которых нет потому, что нет того, для кого должно писать: ты не ощущаешь себя в обществе, ибо его нет. Ты скажешь, отчего я пишу, хотя также не ощущаю себя в обществе? Видишь ли: у меня много самолюбия, которое искало себе выхода; я темно понимал, что для царской службы не гожусь, в ученые также и что мне один путь. Будь я обеспечен, как ты, и притом прикован к какому-нибудь внешнему делу, как ты, – подобно тебе, я изредка делал бы набег на журналы; но бедность развила во мне энергию бумагомарания и заставила втянуться и погрязнуть по уши в вонючей тине расейской словесности. Дай мне 5000 годового и беструдового дохода – и в русской жизни стало бы одним фактом меньше. Итак, видишь ли, – *ларчик просто открывался*.^[152] Всё это я веду от одного и к одному – мы сироты, дурно воспитанные, мы люди без отечества, и оттого мы, хоть и хорошие люди, а всё-таки ни богу свеча, ни чорту кочерга, и оттого редко пишем друг к другу. Да и о чем писать? О выборах? Но у нас есть только дворянские выборы, а это предмет более неблагопристойный, чем интересный. О министерстве? Но ни ему до нас, ни нам до него нет дела, притом же в нем сидит Уваров с православием, самодержавием и народностью (т. е. с кутьею, кнутом и матерщиною); о движении промышленности, администрации, общественности, о литературе, науке? – но у нас их нет. О себе самих? но мы выучили уже наизусть свои страдания и страшно надоели ими друг другу. Итак – остается одно: будем желать поскорее умереть. Это всего лучше. Однако прощай пока. Глаза слипаются – спать хочется.

* * *

Июня 28

Опять здравствуй, Боткин. Ну, как переменялся твой брат^[153] – узнать нельзя. Где это апатическое, биллиардное выражение лица, где тусклые сонливые глаза? Знаешь ли, меня восхитило его лицо, – в нем столько благородства, человечности, особенно в глазах, которые он точно украл у тебя. Голос и манеры его отличаются какою-то нежностью и вкрадчивостью, как у тебя в твои хорошие минуты. Да, это перерождение, чудо духа, которое я видел своими глазами.

* * *

По совету твоему, купил Плутарха Дестуниса и прочел. Книга эта свела меня с ума. Боже мой, сколько еще кроется во мне жизни, которая должна пропасть даром! Из всех героев древности трое привлекли всю мою любовь, обожание, энтузиазм – Тимолеон и Гракхи. Биография Катона (Утического, а не скотины Старшего) пахнула на меня мрачным величием трагедии: какая благороднейшая личность. Перикл и Алкивиад взяли с меня полную и обильную дань удивления и восторгов.^[154] А что же Цезарь? – спросишь ты. Увы, друг мой, я теперь забился в одну идею, которая поглотила и пожрала меня всего. Ты знаешь, что мне не суждено попадать в центр истины, откуда в равном расстоянии видны все крайние точки ее круга; нет, я как-то всегда очутюсь на самом краю. Так и теперь: я весь в идее гражданской доблести, весь в пафосе правды и чести и мимо их мало замечаю какое бы то ни было величие. Теперь ты поймешь, почему Тимолеон, Гракхи и Катон Утический (а не рыжая скотина Старший) заслонили собою в моих глазах и Цезаря и Македонского. Во мне развилась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности, которые возможны только при обществе, основанном на правде и доблести. Принимаясь за Плутарха, я думал, что греки заслонят от меня римлян – вышло не так. Я бесновался от Перикла и Алкивиада, но

Тимолеон и Фокион (эти греко-римляне) закрыли для меня своею суровою колоссальностию прекрасные и грациозные образы представителей афинян. Но в римских биографиях душа моя плавала в океане. Я понял через Плутарха многое, чего не понимал. На почве Греции и Рима выросло новейшее человечество. Без них средние века ничего не сделали бы. Я понял и французскую революцию, и ее римскую помпу, над которою прежде смеялся. Понял и кровавую любовь Марата к свободе, его кровавую ненависть ко всему, что хотело отделяться от братства с человечеством хоть коляскою с гербом. Обаятелен мир древности. В его жизни зерно всего великого, благородного, доблестного, потому что основа его жизни – гордость личности, неприкосновенность личного достоинства. Да, греческий и латинский языки должны быть краеугольным камнем всякого образования, фундаментом школ.

* * *

Странное дело, Боткин: жизнь моя сама апатия, зевота, лень, стоячее болото, но на дне этого болота пылает огненное море. Я всё боялся, что с годами буду умирать – выходит наоборот. Я во всем разочаровался, ничему не верю, ничего и никого не люблю, и однако ж интересы прозаической жизни всё менее и менее занимают меня, и я всё более и более – гражданин вселенной. Безумная жажда любви всё более и более пожирает мои внутренности, тоска тяжелее и упорнее. Это мое, и только это мое. Но меня сильно занимает и не мое. Личность человеческая сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума. Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную. Какое имеет право подобный мне человек стать выше человечества, отделиться от него железною короною и пурпуровою мантиею, на которой, как сказал Тиберий Гракх нашего века, Шиллер, видна кровь первого человекоубийцы? Какое право имеет он внушать мне унижительный трепет? Почему я должен снимать перед ним шапку? Я чувствую, что будь я царем, непременно сделался бы тираном. Царем мог бы быть только бог, бесстрастный и всеведущий. Посмотри на лучших из них – какие сквернавцы, хоть бы Александр-то Филиппович: когда эгоизм их зашевелится – жизнь и счастье человека для них нипочем. Гегель мечтал о конституционной монархии, как идеале государства, – какое узенькое понятие! Нет, не должно быть монархов, ибо монарх не есть брат людям, он всегда отделится от них хоть пустым этикетом, ему всегда будут кланяться хоть для формы. Люди должны быть братья и не должны оскорблять друг друга ни даже тенью какого-нибудь внешнего и формального превосходства. Каковы же эти два народа древности, которые родились с таким понятием! Каковы же французы, которые без немецкой философии поняли то, чего немецкая философия еще и теперь не понимает! Чорт знает, надо мне познакомиться с сен-симонистами. Я на женщину смотрю их глазами. Женщина есть жертва, раба новейшего общества. Честь женщины общественное мнение относит к ее <...>, а совсем не к душе, как будто бы не душа, а тело может грязниться. Помилуйте, господа, да тело можно обмыть, а душу ничем не очистишь. Замужняя женщина любит тебя от мужа, но не <...> тебе – она честна в глазах общества; она <...> тебе – и честь ее запятнана: какие киргиз-кайсацкие понятия! Ты имеешь право иметь от жены сто любовниц – тебя будут осуждать, но чести не лишат, а женщина не имеет этого права, да почему же это, <...>, подлые и бездушные резонёры, мистики, пиетисты поганые, <...> человечества? Женщина тогда <...>, когда предаёт тело свое без любви, и замужняя женщина, не любящая мужа, есть <...>; напротив, женщина, которая в жизнь свою <...> 500-м человекам не из выгод, а хотя бы по сладострастию, есть честная женщина, и уж, конечно, честнее многих женщин, которые, кроме глупых мужей своих, никому не <...>. Странная идея, которая могла родиться только в головах каннибалов – сделать <...> престолом чести: если у девушки <...> цела – честна, если нет – бесчестна. И это калмыцкое понятие хотят освящать христианством. Боже, отпусти им – не ведут бо, что творят! А брак – что это такое? Это установление антропофагов, людо-

едов, патагонов и готтентотов, оправданное религиею и гегелевскою философию. Я должен всю жизнь любить одну женщину, тогда как я не могу любить ее больше году. Впрочем, религия позволяет мне и не любить ее – она требует только, чтоб исполнял в отношении к ней мои супружеские обязанности, т. е. одевал, кормил, поил и <...> ее. Чистое, духовное, идеальное воззрение на таинство сочетания душ! Я скован и не могу принадлежать той, которую люблю, вся жизнь моя погибла, а жизнь и без того так коротка, так глупа, так полна горем и муками. Но что я – я могу изменять моей жене, но женщина – что она? – раба моя, вещь моя, <...> моя, ее душа, ее лицо, ее красота – всё это только дополнения к <...>. Наша святая православная церковь лучше других поняла таинство брака: она и не скрывает, что тут всё дело в <...>. Святейший правительствующий синод не разведет тебя с женою за несходство нравов, за отсутствие любви, за любовь к другой; но если ты докажешь, что <...>, или если жена твоя докажет, что <...> – вас разводят. Далее, я знакомлюсь, ухажу, делаю всё, что хочу и как хочу; жена должна всё делать с моего согласия; почему это? Превосходство мужчины? но оно тогда законное право, когда признается сознанием и любовью жены, выходит из ее свободной доверенности ко мне, иначе мое право над нею – кулачное право. Нет, брат, женщина в Европе столько же раба, сколько в Турции и в Персии. И Европа еще смеет думать, что она далеко ушла, и мы еще можем фантазировать, что человечество стоит на высокой степени совершенства! Если кто еще ушел подальше, так это Франция. Там явилась вдохновенная пророчица, энергический адвокат прав женщин – Жорж Занд; там брак есть договор, скрепляемый судебным мостом, а не церковью; там с любовницами живут, как с женами, и общество уважает любовниц наравне с женами. Великий народ! (Кстати: какую гадость написал Лермонтов о французах и Наполеоне – то ли дело Пушкина «Наполеон».)^[155] И не стыдно ли было твоему любезному Рётшеру написать) такую гадость о Шекспире^[156] и (если это точно шекспировская драма^[157]) объективное изображение принять за субъективный взгляд? Это значит из великого Шекспира делать маленького Рётшера. Пигмеи все эти гегеляты!

* * *

Кстати о Шекспире: его «Генрих VI» мерзость мерзостью. Только гнусное национальное чувство отвратительной гадины, называемой англичанином, могло исказить так позорно и бесчестно высокий идеал Анны д'Арк. Он сделал ее колдуньей и <...> – фуй, какая свинья англичанин! Но довольно об этом: я ненавижу англичан больше, чем китайцев и каннибалов, и не могу иначе говорить о них, как языком похабщины и проклятий. Но обе части «Генриха IV», «Генрих V» – что это за дивные, колоссальные создания; даже в «Генрихе VI» всё, что не касается до Жанны д'Арк, велико и грандиозно. Да будет проклята всякая народность, исключаяющая из себя человечность! Она заставила написать глупейшую мерзость такого мирового гения.^[158] Спасибо Кетчерушке – умник, погладь его по головке.^[159] Если б в России можно было делать что-нибудь умное и благородное, Кетчер много бы поделал – это человек.

* * *

В «Отечественных записках» напечатана моя вторая статья о Петре Великом; в рукописи это точно, о Петре Великом, и, не хвалясь, скажу, статейка умная, живая; но в печати – это речь о проницаемости природы и склонности человека к чувствам забвенной меланхолии. Ее исказил весь цензурный синедрин *соборне*. Ее напечатана только треть, и смысл весь выключен, как опасная и вредная для России вещь.^[160] Вот до чего мы дожили: нам нельзя хвалить Петра Великого. Да здравствует Погодин и Шевырев – вот люди-то! Да здравствует «Москвитянин» – вот журнал-то! Ну да к чорту их всех и с Россиею!

* * *

Прочти, в мое воспоминание, Беранже, особенно пьесу «Hâtons-nous».¹⁴ Я боготворю Беранже – это французский Шиллер, это апостол разума, в смысле французов, это бич предания. Это пророк свободы гражданской и свободы мысли. Его матерные стихотворения на религиозные предметы – прелесть; его политические стихотворения – это дифирамбы; в Питере появилось последнее издание его песен – вот тебе последняя из них —

Adieu, chansons!

Pour rajeunir les fleurs de mon trophée,
Naguère encore, tendre, docte ou railleur,
J'allais chanter, quand m'apparut la fêe
Qui me berça chez le bon vieux tailleur.
«L'hiver, dit-elle, a soufflé sur sa tête:
Cherche un abri pour tes soirs longs et froids.
Vingt ans de lutte ont épuisé ta voix,
Qui n'a chanté qu'au bruit de la tempête».
Adieu, chansons! mon front chauve est ridé.
L'oiseau se tait; l'aquillon a gronde.¹⁵

Скучно списывать, а чудо, что такое! Какая грусть, какое благородное сознание своего достоинства:

Vos orateurs parlent à qui sait lire;
Toi conspirant tout haut contre les rois,
Tu marias, pour ameuter les voix,
Des airs de vieille aux accents de la lyre...^{16[161]}

Ну, пора кончить. Вот просьба к тебе: мой возлюбленный братец^[162] берет у всех деньги и проедает их на пряники и чернослив. Бога ради, когда он будет у тебя просить и если ты найдешь возможным дать ему что-нибудь, то скажи, чтобы он прислал к тебе для получения Иванова, которому ты-де и отдашь. А всего лучше, гоняй его от себя, да скажи и Кетчеру, чтобы он в этом отношении поучил его уму-разуму. Гадко писать о подобных вещах.

* * *

От Кетчера получил огромное письмо,^[163] которое, впрочем, не уяснило дело и еще более утвердило меня в моих убеждениях. Герцен послезавтра уезжает из Питера.^[164] Благородная личность – мало таких людей на земле! А жена его – что это за женственное, благороднейшее

¹⁴ «Поспешим» (франц.). – *Ред.*

¹⁵ Прощайте, песни! Недавно, чтоб освежить трофейный свой венок, собрался я запеть нежно, поучительно или насмешливо, как вдруг явилась мне фея, баюкавшая меня у доброго старого портного. «Дыхание зимы над головой, – сказала она, – ищи приюта для предстоящих долгих и холодных вечеров. Двадцать лет борьбы изнурили твой голос, певший только под грохот бурь». Прощайте, песни! Мой облысевший лоб в морщинах. Птица умолкает. Завыл Аквилон. (Франц.) – *Ред.*

¹⁶ Ваших ораторов понимают только немногие; ты же, открыто бунтующий против королей, соединял, чтобы поднимать народ, старушечьи песенки с звуками лиры. (Франц.) – *Ред.*

создание, полное любви, кротости, нежности и тихой грации!^[165] И он стоит ее – это не то, что мы: мы искали в женщине актрисы, мы хотели ей удивляться, а не любить ее.

* * *

Мой адрес: В Семеновском полку, на Среднем проспекте, между первою линиею и Госпитальною улицею, в доме г-жи Бутаровой, № 22. У меня большая квартира и сад, весьма помогающий мне ничего не делать.

* * *

Ну, что, как дела твои? Я писал к Н. Бакунину и получил ответ. Вера его в М<ишеля> очень шатка – он сбит, а не убежден.^[166] Писни о сем.

* * *

В Москву я *непременно* буду зимою к 25 декабря – это решено.^[167]

* * *_

Познакомился с Липпертом,^[168] – вызывается учить меня по-немецки – страшно – лень.
Твой В. Белинский.

180. П. Н. Кудрявцеву

СПб. 1841, июня 28

Любезнейший мой Петр Николаевич, не могу утерпеть, чтоб не черкнуть Вам несколько строк. Вот уже месяца с два, прочтя Вашу «Звезду», я горю к Вам непреодолимою любовью.^[169] Два раза видел во сне, что Вы приехали в Питер. С чего-то вообразилось мне, что Вы непременно должны приехать. Я плавал в созерцании Вашей благоуханной, грациозной и милой личности, жаждал видеть Вас и говорить с Вами. Мне смертельно хочется сказать Вам, как много, много люблю я Вас. Прочтя Вашу повесть в рукописи, я сказал Краевскому: «Прекрасно, только не для нашей публики». Прихожу к нему в другой раз – сидит и правит корректуру: «С чего Вы взяли, что не для публики, – чудо, что такое – это просто прелесть; у Лермонтова сила, у Кудрявцева – грация». На языке Кр<аевско>го это много значит: Лермонтов у него мерка всего великого. У меня так и забилося сердце: похвала Вашей повести – музыка для моих ушей; холодный отзыв – оскорбление, и потому я избегаю случая говорить или спорить о них. Какой Вам чорт сказал, что Кр<аевско>му Ваша «Звезда» не нравится? С чего Вы вздумали писать новую повесть,^[170] как будто в вознаграждение за старую? Если новая будет только не хуже «Звезды» – так она будет роскошный благоуханный цветок искусства; а если лучше – я с ума сойду от нее. Ну, «Звезда»! Какая оригинальность, какой совершенно новый мир, какой фантастический флер наброшен на действие, какие характеры, что за дивное создание эта бедная, болезненная девушка. Ваше фантастическое я ставлю выше гофманского – оно взято из действительного мира. Вы открываете новую сторону русской жизни. Я бы не кончил, если б вздумал всё высказать о «Звезде». Липперт переводит ее на немецкий, также и «Флейту», а может быть, и «Катеньку Пылаеву» и «Антонину». Не выставить ли в переводе Вашего настоящего имени?^[171] – Что Вы на это скажете?

Не сердитесь ли Вы на меня, что я напечатал Вашу прекрасную статью в гнусной коневской газетишке? Мне было жаль думать, что она не будет напечатана и Морошкин не съест Вашей оплеухи.^[172] Вот как надо писать рецензии – Ваш слог приводит меня в отчаяние – я завидую Вам и жалею, что Вы ничего не издаете, чтоб я мог Вас разругать. Какую дрянь написал Лермонтов о Наполеоне и французах – жаль думать, что это Лермонтов, а не Хомяков.^[173] Но сколько роскоши в «Споре Казбека с Эльбрусом», хотя в целом мне и не нравится эта пьеса и хотя в ней есть стиха четыре плохих.^[174]

Скажу Вам на ушко (это тайна): хочется мне смертельно, до бешенства, съездить на полгода за границу и полечиться и посмотреть на божий мир и человеческую жизнь.^[175] Кр<аевско>го как-нибудь уломаю – авось отпустит; деньжонок надеюсь тысячи две приготовить. Да этого маловато – пришло мне в голову издать альманах,^[176] – так, знаете – насчет того, то есть, оно не то, чтобы, а так – отец и благодетель, в рассуждении... повестцы (не в счет той, что Вы пишете для «Отечественных записок»). Буду кланяться и Лермонтову, о Кольцове и говорить нечего; о Красове также, Ключникове тоже. Во всяком случае, это тайна, о которой знаете Вы да Боткин, а более никто. Альманах я бы продал, если самому некогда будет напечатать. Прочтите мое письмо к Боткину – оно очень оригинально – особенно слог хорош и отличается самую грациозною энергиею.^[177] Поклонитесь от меня Галахову.

Милый мой Петр Николаевич, порадуите меня письмецом: оно доставит мне счастливую минуту, а счастливая минута для меня редка, как хорошая погода для Петербурга. Хотелось бы мне сказать Вам, как много я люблю Вас (т. е. вот уж месяца два или больше сряду), но такие вещи не высказываются. Боже мой, чего бы не дал я за блаженство увидеть Вас у себя в

комнате, в моем халате, с трубкою в руках, с спокойною и милою усмешкою на устах! Тысячу раз жму Вашу руку и обнимаю Вас.

Ваш В. Белинский.

Вам кланяется Ваш старый знакомый князь Козловский.

181. В. Ф. Одоевскому

<29 июня 1841 г. Петербург>

Извините, Князь, что я беспокою Вас делом, которое мало до Вас касается, а между тем обязывает Вас не совсем приятным посредничеством и отнимает время, которого и без того у Вас немного. Будьте добры, возьмите на себя труд напомнить г-ну Гурцову о деньгах. Хорошо или дурно, но, как умел, я выполнил его вторую комиссию, которая была для меня несравненно скучнее и труднее первой.^[178] Мне теперь крайняя нужда в деньгах, а у Краевского, моего единственного ресурса, как Вам самим известно, теперь нет ни копейки. В ожидании ответа, который Вы можете мне сделать всего лучше и обстоятельнее через Краевского, если скоро с ним увидите, еще раз прошу Вас извинить меня за мою докучливость и остаюсь Вашим

покорным слугою

Виссарион Белинский.

P. S. Впрочем, мой адрес: В Семеновском полку, на Среднем-проспекте, между первую линию и Гошпитальною улицею, в доме Бутаровой, № 22.

СПб. 1841, июня 29.

182. А. А. Краевскому

<18–19 июля 1841 г. Петербург.>

Нет ничего тяжелее, Краевский, как назначать цену своему труду, когда он уже кончен. В первый раз я получил от г. Гурцова 300 р. асс.;^[179] но вторую мою работу я без преувеличения считаю втрое тяжелее первой, почему и думаю, что 500 р. асс. не были бы вознаграждением, превышающим труд. Впрочем, если г. Гурцов уехал, то, разумеется, кн. Одоевский тут ничем не виноват, и я нисколько не почитаю его обязанным принимать в чужом пиру похмелье – мне бы давно следовало уведомить его о деле. И потому потрудитесь только добиться удовлетворительного ответа – *да* или *нет*, чтобы так или сяк, но только считать это дело решенным и конченным.^[180]

В. Белинский.

Сегодня я обедаю у Михайловского-Данилевского – вот что значит писать такие прекрасные статьи, как о «Ста русских литераторов»^[181] – как раз во дворец будешь ездить и с посланниками впятером в вист играть.^[182]

Посылаю стихи Сатина – непременно поместите – иначе он может оскорбиться.^[183]

183. Н. Х. Кетчеру

СПб. 1841, августа 3

Уродина Кетчер, чудовище нелепости! Собери все ругательства, которыми так богат русский язык, все проклятия, какими когда-либо попы поражали еретиков и вольнодумцев, – всё это будет ничто в сравнении с потоками брани, которую недавно изрыгал я на тебя! Кто так глупо принимался за такое умное и великое дело, как издание Шекспира? Краевский разделяет мое негодование и клеймит тебя ругательным прозвищем «москвича». Во-первых, надо было общими силами сочинить крикливую программу, потом прокричать уши нашей глупой публике, надоесть ей и пр. и пр. Мы бы, с своей стороны, приложили и руку и старание; тогда ты смело мог бы печатать 1200 экземпляров и пустить выпуск по три гривенника или уже много-много по два двугривенных – издание разошлось бы, Шекспир разлился бы по великому болоту святой Руси, лягушки, волею или неволею, но расквакались бы, да и ты был бы хотя и не в большом, но в верном вознаграждении. Надо было прокричать в «Московских ведомостях», в «Москвитянине», в «Отечественных записках», в «Литературной газете», в «Полицейской газете», в «Петербургских ведомостях», в «Инвалиде», словом, везде, а кричать начать за полгода. А то что это: у Юнгмейстера до сих пор не было – а спрашивают. Прислал ты мне 50 экземпляров, а билетов не прислал, тогда как мои знакомые и приятели могли бы раздать до полусотни. Глупо, пошло – московски!^[184] Ну, да будет браниться – ты ведь неизлечим, только гроб горбатого исправит – да процветает твоя нелепость! Только знаешь ли что? – Мне кажется, что ей лучше процветать в Питере, чем киснуть в Москве «хлебосольной» и «благотворительной».^[185] Вот в чем дело. С будущего года Краевский (пока – тайна сия велика есть) издает «Сын отечества» и делает из него газету (политико-литературную), три раза в неделю, по два листа зараз, в 4-ю долю листа. Если это сбудется, т. е. если (это главное) Смирдин изворотится и (это второе) Цензурный комитет позволит,^[186] – о чем ты узнаешь достоверно месяца через два, а вероятно и ближе, – ты бы сделал умное дело (еще первое в твоей жизни), если бы переехал в Питер. Краевский уполномочил меня соблазнять тебя. Вот его условия. Ты у него главный и самый надежный переводчик с трех языков в два журнала («Отечественные записки» и «Сын отечества»), по 40–50 рублей с листа (вероятно, смотря по языку и статье), ты его «смеситель» в обоих журналах, т. е. наборщик всяких новостей из иностранных журналов и газет. Он говорит, что самая плохая твоя заработка в год – 2500 р. асс., а самая большая может зайти за 4000. Кроме того, ты можешь иметь и посторонние доходы (разумеется, не взятки, а за труды для книгопродавцев и участие в других предприятиях). Если тебе нужна будет небольшая сумма вперед на подъем (от 200 до 300 р.) – уведоми – тотчас же вышлется. Шекспира можешь продолжать и в Питере, и еще с большим успехом, ибо книги с питерским штемпелем и в провинции и в самой Москве вдвое уважаются против московских: Москва и в собственных глазах опоганилась, почему и решилась издавать «Москвитянина» и быть «хлебосольной» и «благотворительной». Смирдин явно переходит на нашу сторону (о чем тоже, кроме своих, никому до времени говорить не нужно). Это русский человек – необразован, как свинья, но его антрепренерство есть любовь и страсть. Падая, он всё мечтает об огромных и дешевых изданиях и, между прочим, думает издать всего В<альтер> Скотта и Купера – понимаешь? – Если удастся поправить ход Шекспира, можно будет на него навязать, а ты будешь только работать и получать хорошую плату. Конечно, всё это только мечты, но их осуществление отнюдь не невозможно, и тебе обо всем этом не худо подумать не шутя, да переговорить с Боткиным. Что-нибудь одно – или быть свиньей и ничего не делать, т. е. приняться за «хлебосольство» и «благотворительность», или переехать в Питер, пожертвовав привычкою и связями, ибо делать

и существовать работою можно только в Питере. Ты рожден для дела, и хоть в иных отношениях порядочный москвич, но уж, конечно, не в твоей натуре быть «хлебосольным» и «благотворительным». Подумай-ко, душа моя. Дело, дело и дело – или смерть!

Вот тебе несколько новостей: Лермонтов убит наповал – на дуэли. Оно и хорошо: был человек беспокойный и писал хоть хорошо, но безнравственно, – что ясно доказано Шевыревым и Бурачком.^[187] Взамен этой потери Булгарин всё молодеет и здоровеет, а Межевич подает надежду превзойти его и в таланте и в добре.^[188] Ф<аддей> В<енедиктович> ругает Пушкина печатно, доказывает, что Пушкин был подлец,^[189] а цензура, верная воле Уварова, марает в «Отечественных записках» всё, что пишется в них против Булгарина и Греча. Литература наша процветает, ибо явно начинает уклоняться от губительного влияния лукавого Запада – делается до того православною, что пахнет мощами и отзывается пономарским звоном, до того самодержавною, что состоит из одних доносов, до того народною, что не выражается иначе, как по-матерну. Уваров торжествует и, говорят, пишет проект, чтобы всю литературу и все кабаки отдать на откуп Погодину. Носятся слухи, что Погодин (вместе с Бурачком, Ф. Н. Глинкою, Шевыревым и Загоскиным), будет произведен в святители российских стран: чтобы предохранить гнусное и заживо вонючее тело свое от гниения, Погодин снимает все кабаки и торгует водкою. Одним словом, будущность блесит всеми семью цветами радуги. А между тем Европа гниет: Франция готовится к борьбе за свободу со всем миром, укрепляет Париж и уничтожает Абдель-Кадера^[190] (поборника православия, самодержавия и народности). Пруссак конституции и решают религиозный вопрос о личности человека; лорд Россель борется с Пилем в вопросе о хлебе и пр.^[191] Жалко видеть это глупое брожение мирских сует и отрадно читать статьи Погодина, Бурачка и Шевырева. Бог явно за нас – ведь он любит смиренных и противится гордым. Национальность малороссийская процветает и укрепляется. Справедливы ли слухи, что будто Погодин, по скаредной своей скупости, боясь многочадия, не то <...>, не то <...> Шевырева? Уведомь меня об этом обстоятельстве: оно очень важно для успехов нашей литературы, в которой я принимаю такое участие. Чего не выдумает праздный народ о великом человеке? Правда ли, наконец, что Погодин будто бы водил к Уварову мальчиков, отличающихся остротою ума и тупостию <...>, – о чем глухо было писано в «Журнале Министерства народного просвещения» и что поставлено Погодину за услугу русскому просвещению в духе самодержавия, православия и народности и за что Погодин представлен к награде годовым жалованием? Этот слух кажется мне тем вероятнее, что князь Дундук^[192] устарел, зарос грибами и Уваров употребляет его только по откупам и подрядам, т. е. пользуется уже только его головою, а не <...>. Правда ли, что «Москвитянин» вводится в литургию и должен будет заменить «Апостола»? И что для чтения одного будет употреблен, по природному громозвучию, Загоскин? Правда ли, что Ф. Н. Глинка перекладывает «Москвитянина» и «Маяка» на акафисты в стихах, а Авдотья Павловна^[193] кладет их на музыку? – Читаешь ли ты «Пчелу»? Превосходная политическая газета? Из нее тотчас (месяца через два) узнаешь, что у благородного лорда Пиля геморроидальные шишки увеличились; что при посещении такого-то города таким-то принцем была иллюминация и все жители громкими кликами изъявляли свою верноподданническую преданность; что королева Виктория на последнем бале была в страшно накрахмаленной исподнице и что по случаю новой беременности у ней остановились месячные и т. д. Вообще, душа моя Тряпичкин,^[194] – много жизни – не изжить; возблагодарим же создателя и подадим друг на друга донос. Аллилуйя!

* * *

Прочтя «Ластовку» и «Снип», я понял все достоинство борщу, сала и галушек.^[195] Жаль, что умер Шишков^[196] – многого мы лишились. Без него Академия российская осиротела и с горя спилась с кругу, а Борька Федоров еще больше поглупел.^[197] От главы Андрея Муравьева

исходит сияние.^[198] Ну, больше не упомяну, а много новостей. Впрочем, доставитель сего юмористического послания расскажет тебе их.

Статья Герцена – прелесть, объединение.^[199] Давно уже я не читал ничего, что бы так восхитило меня. Это человек, а не рыба: люди живут, а рыбы созерцают и читают книжки, чтобы жить совершенно напротив тому, как писано в книжках. У меня страшная охота сделаться рыболовом и варить уху. Пишу диссертацию, в которой доказываю, что лягушки выше рыб, а национальность выше образования, просвещения, истины и свободы. Да здравствуют щи, борщ, буженина и вареники! Ах, забыл было, носятся слухи, что Булгарин <...>. Жена Межевича в мызе Карлово^[200] совершенно излечилась от сифилис, которою заразил ее Межевич (т. е. муж); теперь он сам поехал туда для излечения себя от той же болезни, а «Полицейскую газету» издает наборщик Анемподист.

Ну, довольно болтать. Прощай.

Твой В. Белинский.

Цензура не пропустила в моей статье о Пушкине (3 том) заглавие пушкинской статьи «О мизинце г. Булгарина и о прочем».^[201] Боясь доносов Погодина и Шевырева, цензор не хочет пропускать ни слова против «Москвитянина». Аллилуйя! Душа моя, отслужи за меня молебен Иверской – хочу покаяться и пуститься в доносы.

184. Д. П. Иванову

СПб. 1841, августа 25

Любезный Дмитрий, не знаю, как и благодарить тебя за твое ко мне расположение, которое высказывается со всею добротою и горячностью твоего благородного и милого характера. Письмо твое нисколько не огорчило меня, а скорее доставило мне удовольствие. Ты победил меня насчет моего «рыцаря чести», который оказался прямым рыцарем подлости.^[202] О Каченовском тоже спорить нечего: это была явная прижимка с его стороны.^[203] О московском университете больше нечего и толковать – чорт с ним. Я решаюсь вот на что: Никанор останется у тебя до праздников, в декабре (в последних числах) я буду в Москве и возьму его в Питер. Жить ему за моими глазами нельзя: он очерствел, и его исправить можно только личным надзором. Живя у тебя, он должен работать и готовиться к петербургскому университету. Время это должно быть для него временем испытания, и в отношении к нему ты больше, чем когда-либо, должен быть его надсмотрщиком и доносчиком. От этого зависит его участь: если он выдержит испытание в эти четыре месяца, я беру его, определяю в петербургский университет; если нет – в полк.^[204] Он может думать о тебе что ему угодно, но должен оказывать тебе всевозможное уважение и беспрекословно тебе повиноваться. А ты не смотри ни на его мысли, ни на его чувства и будь к нему неумолимо строг. Ты прав, говоря, что он некогда будет питать к тебе любовь и уважение. Твое благородное, любящее сердце превосходно решило этот вопрос. Но пока его спасение зависит от того, чтобы ты был его доносчиком. Теперь мои дела еще плохи (иначе я тотчас же бы перевез его в Питер), но зимою они должны поправиться. Если бы Никанор не пошел на экзамен или как-нибудь сфальшил, обнаружив упрямство и самодурство, я бы отступился от него; но он не выдержал экзамена – что делать: притом же, Шевырка так зол на меня, что даже не умел и скрыть этого, – ясно, что Никанору не годится быть в московском университете. Лета его еще не бог знает какие – еще год не беда, а между тем он основательнее приготовится – я дам ему средства. Меня очень обрадовало, что он получил хорошие баллы из латинского и закона божия. Итак, потерпи его немного, поддержи его до января, а главное, *присмотри* за ним. Я твой вечный должник. Если бы ты в порыве великодушия отдал мне всё свое годовое жалованье, а сам остался бы непричем, – я бы это менее ценил, ибо это могло бы быть минутным порывом, за которым могло бы последовать и раскаяние. Но осудить себя на ежедневные огорчения и мелкие досадные неудовольствия, два года держать у себя дикого самодура, тратиться на него, тесниться для него и видеть, что он тебя не понимает, не ценит, платит за любовь неблагодарностию – это жертва, за которую мудрено отблагодарить.

Расписку Дарьи Титовны сожги, она ни на что не нужна.^[205] Кланяйся Д<арье> Т<итовне> – и уведоми меня, как она поживает. Кланяйся всем, кто меня помнит. Попроси Павла Дмитриевича^[206] еще позаняться с Никанором, если можно; я считаю себя его должником и по мере сил буду благодарить его. Нельзя ли хоть 2 раза в неделю, да поаккуратнее. Надо из математики исподволь подготовиться. Держал ли экзамен Никанор из истории? Историю пока он может совсем бросить – в Питере успеет из нее приготовиться, а у меня много и средств для этого.

У тебя гостила Вера Петровна – я не знал этого, а то бы послал и писульку и гостинец.^[207] Леоноре Яковлевне – поклон и родственное лобызание и в уста и в ручку. Скажи пожалуйста – я ведь у тебя крестил или нет? Кажется, нет! Пожалуйста, сделай меня отцом какого-нибудь твоего червяка – только заочно, ибо я церемоний не люблю. Если червяка нет наготове, то приготовь – тебе это не большого труда стоит. Имеющихся налицо ягнят твоих целую и к

празднику привезу им гостинцев. Знаешь ли что, – в Москву я приеду числа 20 декабря,¹⁷ из нее выеду 6 января^[208] – нельзя ли тебе будет съездить в Питер хоть на недельку, если нельзя на две, погостить у меня? Тебе будет стоить только проезд взад и вперед, а жить ты будешь у меня на всем на готовом. Для Никанора у меня уже заготовлена отдельная комната. Квартира у меня теперь – прелесть.

Кланяйся Алеше и Петру-студенту и поцелуй за меня их обоих.^[209] Стыдно студенту-то так забыть меня – хоть бы 10 строк.

¹⁷ *Далее зачеркнуто: а уеду*

185. Н. Х. Кетчеру

СПб. 1841. Августа 25

Брата твоего, о Кетчер, я не видал – почему-то он не рассудил со мною увидаться. Отвечаю на твое письмо коротко.^[210] О Москве и Петербурге спорить некогда, да и чорт с ней, с Москвою. А вот твой переезд – это другое дело. Ты пишешь, что семейство лишает тебя возможности переехать в Питер – вздор: ты из Питера можешь быть точно так же полезен своему семейству, как и в Москве.^[211] Ты не хочешь менять верного на неверное и еще меньше: дело! Но во-1-х: совсем не на неверное, а на верное (ибо если «Сын отечества» не перейдет в руки К<раевско>го, тебя и не зовут), а во-2-х, *меньшее* или *большее* зависит от тебя. Кр<аевский> говорит, что в «Отечественных записках» *ежемесячно* можешь (если хочешь) переводить не меньше *девяти* листов, следовательно, на 360 р. асс. в месяц и на 4320 р. асс. в год. Итак, если в «Сыне отечества» будет работы столько же («Сын отечества» будет выходить 24 листа в месяц, следовательно, 9 будут всегда твои), то ты будешь получать в год 8640 р. Дело в том: можешь ли ты столько работать (переводить 18 листов в месяц); если не можешь, нечего и толковать, а можешь – дурак, если не переедешь. Если же (в чем я уверен) тебя станет и еще на другие труды, ты от посторонних работ можешь легко достать 3000 в год. Итак, думай и решайся. Тебя зовут не на неверное, а на верное. Я ручаюсь головой и волосами. Я получил письмо от Ог<арева> из-за границы – он здоров и пишет, что в Дрездене у ног Георгия Побед<оносца> видел дракона, а у ног Мадонны – Бак<унина>в усах.^[212] Прощай, твой

В. Белинский

186. В. П. Боткину

СПб. 1841. Сентября 8

Давно уже не писал я к тебе и не получал от тебя писем, мой любезный Василий.^[213] Причины этому ясны: то не в духе, то некогда, вот уж завтра, вот на той неделе, сегодня лень, а вчера нездоровье и т. д. Следовательно, все извинения – общие места, которых нечего и повторять. Но вот это новость, и уж совсем не общее место: ты с чего-то забрал в свою лысую голову, что я к тебе охолодел. Боткин – перекрестись – что ты, Христос с тобою! Ты болен, друг! и тебе видятся дурные сны. Не верь этим ложным призракам встревоженного воображения – гони их от себя, иначе они овладеют тобою. Умея читать в твоих письмах и между строками, я как-то непосредственно догадался о чем-то похожем из твоего письма от 18 июля, где, благодаря меня за письмо, ты говоришь: «Неприятно было только, что ты вспоминаешь о наших старых дрязгах, которые принадлежат к темному времени нашей жизни». Ты не так понял мое воспоминание старых дрязг – ты принял его, как будто за укор^[214] тебе в прошедшем. Боткин, в нем, в этом прошедшем, много дряни – не спорю; но забыть ее нет возможности, ибо с нею соединено тесно и всё лучшее, что было в нашей жизни и что навсегда свято для нас. Нет нужды говорить, что ни один из нас не может похвалиться, ни упрекнуть себя большею долею дряни; количество равно с обеих сторон, и нам нельзя завидовать друг другу или стыдиться один другого. Но я не о том писал и не то хотел сказать – ты не так понял меня. Постараюсь однажды навсегда уяснить это обстоятельство, чтоб оно больше не смущало тебя. Ты знаешь мою натуру: она вечно в крайностях и никогда не попадает в центр идеи. Я с трудом и болью расстаюсь с старою идеею, отрицаю ее донельзя, а в новую перехожу со всем фанатизмом прозелита. Итак, я теперь в новой крайности, – это идея *социализма*,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

Это письмо не сохранилось.

2.

В пору «примирения с действительностью» Белинский отрицательно отзывался о произведениях Шиллера и противопоставлял ему Гёте (см. ИАН, т. XI, письма 104, 109, 124; т. II, стр. 563, 755). Пересматривая в начале 40-х годов свое отношение к Шиллеру и Гёте, Белинский по-прежнему полагал, что Гёте «велик как художник», но сурово осуждал его «как личность» (см. письмо 212), между тем как Шиллер определялся критиком уже как «трибун человечества», «провозвестник гуманности», «яркая звезда спасения» (см. ИАН, т. XI, письмо 161; т. III, стр. 417, 646; т. IV, стр. 520, 655).

3.

Об искажении подлинного текста «Гамлета» Шекспира в переводе, сделанном в 1837 г. Полевым, Белинский писал в рецензии на этот перевод («Моск. наблюдатель» 1838, май, кн. 1; ИАН, т. II, стр. 424–436) и в статье «Репертуар русского театра» («Отеч. записки» 1840, № 4; ИАН, т. IV, стр. 129–131).

4.

Возможно, что Белинский цитирует слова из устной беседы с Н. А. Полевым.

5.

О П. Н. Кудрявцеве см. ИАН, т. XI, примеч. к письму 149. О Красове см. ИАН, т. IV, стр. 623.

6.

Цитата из неизданной в то время сатиры А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших», ходившей по рукам в списках (опубликована была в 1857 г.).

7.

Белинский противопоставляет выступления Н. А. Полевого как передового журналиста, издателя «Московского телеграфа» (1825–1834), его деятельности конца 30–40-х годов. С 1841 г. Полевой стал редактором реакционного журнала «Русский вестник», которым руководил до 1844 г. См. о нем ИАН, т. IX, № 117.

8.

«Письмо из провинции к издателям «Русского вестника», напечатанное (под псевдонимом: А. Б. В.) в «Сев. пчеле» от 13 и 14/XI 1840 г. (№№ 258 и 259). В нем говорилось об упадке русской журналистики и резко критиковались «Отеч. записки» (без упоминания их названия) за их интерес к немецкой философии, печатание больших переводных романов, саморекламу, толщину и дороговизну издания.

9.

Источник цитаты не установлен.

10.

Особенное возмущение Белинского вызывали «Чтения о русском языке» Н. И. Греча, в которых тот травил «Отеч. записки» и глумился над статьями Белинского. См. об этом ИАН, т. V, стр. 156, 796 и т. XI, письмо 131 и примеч. 8 к нему.

11.

Персонаж из баллады Жуковского «Двенадцать спящих дев».

12.

Письмо Кольцова от 10/I 1841 г. (см. в Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 237). В этом же письме Кольцов сообщал Белинскому: «Накануне Рождества были мы с Боткиным у Ксенофонта Алексеевича Полевого; у него застали только что приехавшего Николая Алексеевича. Был разговор об Вас. Ксенофонт Вас не любит и побранивает, а Николай Алексеевич, заметно, с большим усилием, но отзывается с уважением, и что много находит он у Вас мнений весьма хороших» (там же, стр. 237).

13.

В период появления статьи Каткова о сочинениях Сарры Толстой (см. ИАН, т. XI, письмо 135 и примеч. 5 к нему) Белинский еще и сам не критически воспринимал основные положения эстетики Гегеля, популяризируемой Катковым.

14.

В письме от 27/I 1841 г. Кольцов сообщал Белинскому о том, что П. В. Нащокин дал экземпляр сочинений Сарры Толстой К. С. Аксакову, но что тот возьмет экземпляр и для Белинского (Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 242). Статья о сочинениях С. Ф. Толстой для плетневского «Современника» Белинским не была написана (в «Отеч. записках» книгу рецензировал Катков).

15.

Речь идет об увлечении Белинского А. М. Щепкиной. См. ИАН, т. XI, письма 112, 113, 124, 141, 145.

16.

Имеется в виду увлечение Каткова М. Л. Огаревой. См. ИАН, т. XI, письма 127, 129, 132, 137. Нелепый – прозвище Н. Х. Кетчера.

17.

О Н. С. Селивановском см. ИАН, т. XI, письмо 52 и примеч. к нему. – Жена его – Екатерина Федоровна, урожд. Гизетти (ум. в 1860 г.). – Казначей, – очевидно, А. И. Клыков (см. о нем ИАН, т. XI, письмо 129 и примеч. 14 к нему).

18.

Цитата из стихотворения Пушкина «Алексееву».

19.

От немецкого Minne – любовь к даме на языке миннезингеров.

20.

Цитата из неопубликованного тогда «Демона» Лермонтова (ч. II). См. о «Демоне» письмо 188 и примеч. 13 к нему.

21.

Имеется в виду история увлечения Боткина А. А. Бакуниной (см. ИАН, т. XI, письма 137, 163, 165). Старик – отец А. А. Бакуниной, А. М. Бакунин.

22.

Источник цитаты не установлен.

23.

Неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Завещание» (1840). См. об этих стихах далее настоящее письмо.

24.

Неточная цитата из «Евгения Онегина» (посвящение).

25.

О В. А. Дьяковой и ее браке см. ИАН, т. XI, письмо 66, примеч. 17 к нему, письмо 77 и н. т., письмо 215.

26.

М. А. Бакунин. О его нездоровом влиянии на сестер см. ИАН, т. XI, стр. 457, 570, 571.

27.

В письме от 27/1 1841 г. Кольцов писал Белинскому о Боткине: «Только как-то опять начал он входить в прежнее тяжелое положение» (Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 238).

28.

Замысел этот не был осуществлен.

29.

Повесть Герцена, напечатанная в «Отеч. записках» 1840 г. (№ 12, отд. II, стр. 267–288) за подписью: Искандер. В статье «Русская литература в 1841 году» Белинский охарактеризовал эту повесть как «полную ума, чувства, оригинальности и остроумия» (ИАН, т. V, стр. 584).

30.

Белинский, вероятно, имеет в виду корреспонденции Гейне «Французские дела» в «Allgemeine Zeitung» («Всеобщей газете»), вышедшие в 1833 г. отдельным изданием.

31.

О вечерах Селивановского см. статью Ю. Г. Оксмана в «Уч. зап. СГУ», т. XXXI, вып. филологич., 1952, стр. 250–262, и ЛН, т. 56, стр. 274–276.

32.

О «Ромео и Юлии» Шекспира в переводе М. Н. Каткова см. ИАН, т. XI, письмо 93, примеч. 18 к нему.

33.

См. письмо 171 и примеч. 18 к нему.

34.

В «Утренней заре», альманахе на 1841 год, изданном В. Владиславлевым (СПб., 1841), было впервые опубликовано стихотворение Пушкина «Для берегов отчизны дальней...» (стр. 389–390).

35.

Речь идет о стихотворении «Есть речи – значенье...»

36.

В № 2 «Отеч. записок» 1841 г. были помещены в переводе Герцена «Рассказы о временах меровингских. Статья первая»; стихотворения: Пушкина «Ее глаза»; Лермонтова «Завещание»; Кольцова «Грусть девушки», «Ночь», «Тоска по воле»; Сатина «Желание»; повесть Е. П. Гребенки «Записки студента»; статья Белинского «Стихотворения М. Лермонтова» (отд. V, стр. 35–80; без подписи). Отдел «Смеси» включал в себя: «Замечания на статью о Китае в сочинении Эйри» Иакинфа (Бичурина), «Письменные памятники русской старины в С.-Петербурге», «Славянские новости – Чешский театр» И. И. Срезневского, «Влияние ветров на атмосферу», «Новые судебно-медицинские исследования о мышьяке», рассказ Д. Джеррольда «Пятидесятилетний философ и молоденькая девушка».

37.

Статья Белинского – «Стихотворения М. Лермонтова» (ИАН, т. IV, № 86).

38.

Имеются в виду рецензии для № 2 «Отеч. записок» 1841 г.: «Русский театр в Петербурге. Александр Македонский... Соч. М. М.», «Пиитические опыты Елисаветы Кульман», «Портретная и биографическая галерея словесности, художеств и искусств в России», «Памятник искусств» (см. ИАН, т. IV).

39.

Статьи Белинского «Разделение поэзии на роды и виды» и «Деяния Петра Великого. Соч. И. И. Голикова» появились в №№ 3 и 4 «Отеч. записок» 1841 г. (первая – в № 3, отд. I, стр. 13–64, за полной подписью; вторая – в № 4, отд. V, стр. 37–60, без подписи). См. о них ИАН, т. V, № 1.

40.

Перевод Д. В. Веневитинова двух сцен из «Фауста» вошел в посмертный сборник его «Стихотворений» 1829 г. – В № 1 «Отеч. записок» 1841 г. были напечатаны «Две сцены из «Фауста» Гёте» в переводе А. Н. Струговщикова (отд. III, стр. 39–44). О Струговщикове см. примеч. к письму 170.

41.

Усеченный стих из сказки Н. М. Карамзина «Илья Муромец».

42.

А. А. Бакунина.

43.

О Кульчицком см. ИАН, т. XI, письмо 159 и примеч. к нему, а также н. т., письма 189 и 190.

44.

Рассказ Е. П. Гребенки «Кулик» Белинский положительно оценил в рецензии на «Утреннюю зарю» 1841 г. (ИАН, т. IV, стр. 456) и в обзоре «Русская литература в 1841 году» (ИАН, т. V, стр. 585).

45.

Письма В. И. Красова к Белинскому после 1840 г. не сохранились.

46.

Боткин 5 января 1841 г. уехал с А. И. Клыковым в Харьков, откуда вернулся 8 февраля (см. письмо Кольцова к Белинскому от 10/I 1841 г. – Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 238, и письмо Боткина от 10/II – «Литер. мысль», II, 1923, стр. 176).

47.

Белинский имеет в виду диалог Фауста с Мефистофелем в сцене «Рабочая комната Фауста» и слова Фауста:

48.

Первая часть «Фауста» в переводе Струговщикова была издана в 1856 г.

49.

Это письмо Боткина не сохранилось.

50.

Белинский имеет в виду критический разбор Т. Эхтермайером книги Л. Сакса «К воспоминанию о Лессинге» в журнале «Hallische Jahrbücher» 1840, № 179, S. 1428–1429.

51.

«Хвост дьявола», – выражение из романа Э. Т. А. Гофмана «Элексир сатаны».

52.

Цитата из «Гамлета» Шекспира в переводе Н. А. Полевого (М., 1837, стр. 73; д. II, явл. 1).

53.

См. письмо 169 и примеч. 45 к нему.

54.

Цитата из «Ромео и Юлии» Шекспира в переводе М. Н. Каткова (д. IV, явл. 14) – «Пантеон русского и всех европейских театров» 1841, ч. I, стр. 54.

55.

«Тройственным союзом палачей» Белинский называет союз трех монархов – императора Николая I, австрийского императора Фердинанда I и прусского короля Фридриха-Вильгельма III, прокламировавших после совещания в Теплице в октябре 1835 г. свою верность реакционным принципам Священного союза 1815 г.

56.

Письмо Анненкова не сохранилось.

57.

См. письмо 169 и примеч. 16 к нему.

58.

Об отношении Белинского к Полевому в то время см. письмо 169 и примеч. 7 и 8 к нему.

59.

См. примеч. 39 к письму 169.

60.

Тетрадки Каткова содержали в себе конспект «Лекций по эстетике» Гегеля.

61.

Имеется в виду Никитенко Александр Васильевич (1804–1877), профессор, член С.-Петербургского цензурного комитета.

62.

Строки о Шекспире, изуродованные цензурой, восстановлены в тексте статьи «Разделение поэзии на роды и виды». См. ИАН, т. V, стр. 56–57.

63.

Это письмо Боткина не сохранилось. – О пребывании Боткина в Харькове см. примеч. 46 к письму 169.

64.

Цитата из «Записок сумасшедшего» Гоголя.

65.

Белинский намекает на интерес к нему Софьи Ивановны Кронеберг, о котором ему год назад сообщал Боткин. См. ИАН, т. XI, письмо 134.

66.

Имеется в виду перевод Боткиным двух глав («Юлия» и «Офелия») из книги Джемсон «Женщины, созданные Шекспиром» («Отеч. записки» 1841, № 2, отд. II, стр. 64–92). К главе «Офелия» Боткин взял эпиграф из «Бахчисарайского фонтана» Пушкина:

67.

О Рётшере и об отношении к нему Белинского в 1838 г. см. ИАН, т. XI, письма 104, 109, 122.

68.

Дмитрий Капитонович Исаев, брат жены К. Г. Белинского. См. о нем письма 202 и 203.

69.

Белинский отвечает на строки письма Боткина от 10/II 1841 г. («Литер. мысль», II, 1923, стр. 176).

70.

Стихотворение Гёте «Ганимед» в переводе А. И. Кронеберга Боткин прислал Белинскому для помещения в «Отеч. записках», где оно и было напечатано (№ 4, отд. III, стр. 262). В этом стихотворении Кронеберг трижды употребляет слово «любящая» с неправильным ударением.

71.

Стихотворение В. И. Красова «Соседи» было напечатано в «Отеч. записках» 1841, № 3, отд. III, стр. 48.

72.

Цитата из стихотворения Лермонтова «Оправдание» («Отеч. записки» 1841, № 3, отд. III, стр. 44).

73.

В письме от 3/XII 1840 г. Красов писал Белинскому о своем проекте поездки весной в Петербург с целью получения места при помощи Жуковского и В. Ф. Одоевского (БКр, стр. 117).

74.

Речь идет о стихотворениях Лермонтова, помещенных в начале 1841 г.: в «Отеч. записках»: «Есть речи – значенье...» (№ 1), «Завещание» (№ 2) и «Оправдание» (№ 3).

75.

См. ИАН, т. XI, письмо 129 и примеч. 14 к нему.

76.

См. ИАН, т. XI, письмо 66 и примеч. 16 к нему.

77.

Статья Боткина о «Прометее» неизвестна.

78.

Речь идет, очевидно, о статье Баумана, направленной против брошюры Рётшера «О философии в искусстве» (1837 г.). См. ИАН, т. XI, письмо 107 и примеч. 16 и 17 к нему.

79.

См. ИАН, т. XI, письмо 69 и примеч. к нему.

80.

Кольчугин Иван Григорьевич, книгопродавец, приятель Боткина, привлекавшийся в 1827 г. к секретному политическому дознанию по делу братьев Критских (см. о нем: П. К. Симони. Материалы к истории русской книжной торговли в XVIII–XIX ст. Вып. 1. СПб., 1907, Стр. 48–66 и статью Ю. Г. Оксмана в «Уч. зап. СГУ», т. XXXI, вып. филологич., 1952, стр. 254).

81.

Сохранилось лишь окончание одного письма И. П. Ключникова к Белинскому 1841 г. (БКр, стр. 74–75). Этот отрывок весь посвящен критике «Отеч. записок», но перечисленных Белинским положений в нем нет. – О статье о Лермонтове см. письмо 169, примеч. 37 к нему.

82.

К 1841 г. «Эгмонт» Гёте не был издан Кетчером на русском языке. Белинский, вероятно, читал этот перевод в рукописи. См. ИАН, т. XI, письмо 156 и примеч. 4 к нему.

83.

В части 1-й «Пантеона русского и всех европейских театров» за 1841 г. была напечатана анонимная статья «Шиллер. Человек и поэт» (отд. II, стр. 1–15).

84.

В мартовской книжке «Отеч. записок» 1841 г. напечатаны два письма П. В. Анненкова, открывающие его серию «Писем из-за границы»; первое – от 12/XI 1840 г. из Гамбурга, второе – от 10/I 1841 г. из Берлина («Смесь», стр. 15–21; за подписью: А – в).

85.

Эти письма не сохранились.

86.

Речь идет об увлечении Боткина А. А. Бакуниной. См. ИАН, т. XI, письма 93, 137.

87.

См. примеч. 41 к письму 169.

88.

Белинский имеет в виду неудачный роман Н. В. Станкевича Л. А. Бакуниной. См. ИАН, т. XI, письмо 66 и примеч. 5 к нему.

89.

Гегель посвятил вопросам брака главу в «Философии права» (ч. III, отд. I, § 161–169 – см. Собр. соч. Гегеля, изд. 1833 г., т. VIII).

90.

Имеется в виду М. А. Бакунин.

91.

О семье П. Я. Петрова см. ИАН, т. XI, письмо 39 и примеч. 3 к нему. Письмо Петровых не сохранилось.

92.

Аретино Пьетро (1492–1557), итальянский поэт, автор эротических сонетов, тематически связанных с картинами Джулио Романо.

93.

Неточная цитата из «Ревизора» Гоголя (ред. 1836 г.; д. V, явл. 9).

94.

См. письмо 169 и примеч. 17 к нему.

95.

Стихотворение Лермонтова «Родина» было напечатано в «Отеч. записках» 1841, № 4 (отд. I, стр. 283).

96.

Речь идет о Н. Г. Белинском.

97.

Пять драм Шекспира в переводе Кетчера – «Король Иоанн», «Ричард II», «Генрих IV» (в 2-х частях) и «Генрих V» (вышли в свет отдельными выпусками в начале 1841 г.). Говоря о «Генрихе V», Белинский имеет в виду 2-ю сцену V действия – объяснение Генриха с Екатериной, дочерью Карла VII.

98.

Имеется в виду настроение периода «примирения с действительностью».

99.

Ф. А. Кони издавал с 1840 г. журнал «Пантеон русского и всех европейских театров» и с 1841 г. – «Литер. газету».

100.

О П. Д. Козловском см. ИАН, т. XI, примеч. 2 к письму 84.

101.

Письма Н. А. Бакунина к Белинскому не сохранились. О его ответе на настоящее письмо см. письмо 179.

102.

Глуздырь – умник, разумник; шутивное – дурень,

103.

Это письмо М. А. Бакунина не сохранилось. – Далее Белинский вспоминает взаимоотношения с М. А. Бакуниным в 1837–1839 гг. (см. ИАН, т. XI, стр. 281–348). Говоря о «поступках» Бакунина «с одним и еще со многими», Белинский, очевидно, имеет в виду некорректное поведение его с Боткиным, Катковым, Заикиным и др.

104.

П. Ф. Заикин, приятель Белинского, находившийся в это время за границей. См. ИАН, т. XI, письмо 126 и примеч. 7 к нему.

105.

От французского *dure* – одураченным, обманутым.

106.

Неточная цитата из «Демона» Лермонтова. См. письмо 169 и примеч. 20 к нему.

107.

Белинский имеет в виду реплику, повторяющуюся в «Сорочинской ярмарке» Гоголя.

108.

Неточная цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 4, строфа VII).

109.

Цитата из стихотворения Лермонтова «Завещание», напечатанного в № 2 «Отеч. записок» 1841 г.

110.

Цитата из стихотворения А. В. Кольцова «Расчет с жизнью», посвященного Белинскому. Кольцов послал эти стихи Белинскому в письме от декабря 1840 г. (Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 230). Стихотворение было напечатано в «Отеч. записках» 1841, № 3 (отд. III, стр. 50).⁰

111.

Цитата из стихотворения А. И. Полежаева «Вечерняя заря» (см. ИАН, т. XI, письмо 7 и примеч. 3 к нему).

112.

Мачеха В. П. Боткина, Анна Ивановна (рожд. Посникова), умерла 18 марта 1841 г.

113.

Л. А. Бакунина, умершая 6 августа 1838 г. См. ИАН, т. XI, письма 66, 75–77, 94, 101, 102.

114.

Имеется в виду В. А. Дьякова, находившаяся в это время за границей. См. ИАН, т. XI, письма 66, 75, 77.

115.

Речь идет о подозрениях в недоброжелательности Т. А. Бакуниной в пору увлечения Белинского А. А. Бакуниной.

116.

Белинский говорит о повести Гофмана «Золотой горшок».

117.

Родители Н. А. Бакунина.

118.

Цитата из «Ревизора» Гоголя (ред. 1836 г.; д. V, явл. 9).

119.

Цитата из стихотворения Пушкина «Алексееву».

120.

Настоящее письмо является ответом на письмо Боткина от 31/III 1841 г. (см. «Литер. мысль», II, 1923, стр. 178). – О приезде Боткина в Петербург см. письмо 174.

121.

Имеется в виду письмо 172.

122.

Письмо к Н. А. Бакунину – 174; письмо к М. Н. Каткову не сохранилось.

123.

Боткин просил Белинского получить в аптеке копию с рецепта лекарства, прописанного ему в Петербурге.

124.

Речь идет о книге Г. К. Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича» (СПб., 1840), забытой Боткиным у Белинского. Белинский писал о ней в статье «Деяния Петра Великого» («Отеч. записки» 1841, № 4; ИАН, т. V, стр. 106–115). Книга эта сохранилась в его библиотеке (см. ЛН, т. 55, стр. 467). – О Котошихине см. письмо 283, примеч. 1 к нему.

125.

В письме Боткина к Белинскому от 31/III были такие строки: «Мне кажется, я с тобой не простился – я не знаю, как это случилось. Знаешь ли, – это очень мучит меня... Пожалуйста, приезжай потом. Мне кажется, я только одну минуту был с тобой».

126.

См. ИАН, т. XI, примеч. 2 к письму 84.

127.

См. письмо 174 и примеч. 13 к нему.

128.

М. А. Языков. О больных ногах Языкова Белинский писал Боткину в письме 172 (стр. 35; см. также ЛН, т. 56, стр. 215).

129.

Речь идет о рецензии С. П. Шевырева на «Стихотворения М. Лермонтова». СПб., 1840, в которой он упрекал поэта в механическом усвоении поэтических формул Жуковского, Пушкина, Кирши Данилова, Бенедиктова, Баратынского и Дениса Давыдова. В частности, Шевырев находил в «Тучках небесных» подражание стихотворению Бенедиктова «Незабвенная» («Москвитянин» 1841, № 4, стр. 527, 533). См. отзыв Белинского об этом сборнике – ИАН, т. IV, № 86.

130.

Имеется в виду статья «Деяния Петра Великого. Соч. И. И. Голикова». См. письма 169, примеч. 39, и 179.

131.

В это время Белинский жил в доме Е. Л. Бем на 2-й линии Васильевского острова (№ 4, кв. 7), в отдельном флигеле, во дворе (дом этот не сохранился). Вскоре Белинский переехал на новую квартиру, в Семеновский полк, в дом Бутаровой (см. письмо 179 и ЛН, т. 57, стр. 398–399).

132.

Рецензия Белинского на «Душеньку» Богдановича была напечатана в майской книжке «Отеч. записок» 1841 г. (№ 5, отд. VI, стр. 1–4). См. ИАН, т. V, стр. 159–165.

133.

Третья статья о «Деяниях Петра Великого» Белинским не была написана из-за цензурных затруднений. См. письмо 179 и примеч. 13 к нему.

134.

Эти замыслы остались неосуществленными.

135.

Речь идет, очевидно, о рецензиях для № 5 «Отеч. записок» на книги: «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой», «Мозаисты». Соч. Ж. Занд; «Интересные проделки». Соч. Г. Г. и др. (см. ИАН, т. V).

136.

Последнее письмо Белинского к Д. П. Иванову было от 4/X 1840 г. (№ 162).

137.

Имеются в виду московские долги Белинского.

138.

Бывшая квартирная хозяйка Белинского. О долге ей см. ИАН, т. XI, письмо 166.

139.

Белинский говорит о «Латино-русском лексиконе» И. Я. Кронеберга (1-е изд. его вышло в 1819 г.).

140.

Речь идет, вероятно, о книгах: «Начало церковной истории от библейских времен до XVIII в.» еп. Иннокентия (3-е изд. 1820–1821 гг.) и «История русской церкви» еп. Филарета (издавалась шесть раз).

141.

Поляков Василий Петрович, петербургский издатель и книгопродавец —

142.

См. ИАН, т. XI, примеч. 33 к письму 107.

143.

Белинский имеет в виду падение подписки на журналы, вызванное двумя годами неурожая и голода в центральных губерниях. Особенно остро кризис ощущался редакцией «Отеч. записок». См. об этом письма А. А. Краевского к М. Н. Каткову от 9(21)/I и 11/III 1841 г. (ЛН, т. 56, стр. 150, 152) и письмо В. А. Солоницына к Е. Ф. Коршу от 20/V 1841 г. (ЛН, т. 45–46, стр. 373–374).

144.

Жена Д. П. Иванова.

145.

Письмо Белинского к Н. Г. Белинскому не сохранилось. Ответ на него Н. Г. Белинского от 23/IV 1841 г. см. в ЛН, т. 57, стр. 220–221.

146.

Алексей Петрович Иванов. См. ИАН, т. XI, примеч. к письму 7.

147.

П. П. Иванов. См. ИАН, т. XI, примеч. 1 к письму 31.

148.

Последнее известное письмо Белинского к Боткину – от 9/IV 1841 г... (№ 175).

149.

Анахарсис – легендарный скиф, путешествовавший по Греции (VI в. до н. э.). Белинский знал о нем по роману Ж. Ж. Бартеlemi «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции» (1788). С 1803 г. роман несколько раз издавался на русском языке.

150.

Об отношении Белинского в это время к Н. А. Полевому см. письмо 169 и примеч. 7 к нему.

151.

Кайданов Иван Кузьмич (1782–1843), автор популярных учебников; по русской и всеобщей истории.

152.

Цитата из басни И. А. Крылова «Ларчик».

153.

Николай Петрович Боткин (1813–1869), путешественник.

154.

Дестунис Спиридон Юрьевич (1782–1848) перевел на русский язык «Плутарховы сравнительные жизнеописания славных мужей» (13 чч. СПб., 1814–1820). Все 13 частей Плутарха сохранились в библиотеке Белинского (см. ЛН, т. 55, стр. 484).

155.

В майской книжке «Отеч. записок» 1841 г. (отд. III, стр. 1–2) было напечатано стихотворение Лермонтова «Последнее новоселье», посвященное перенесению праха Наполеона с о-ва Св. Елены в Париж (в декабре 1840 г.). См. об этом также письмо 180.

156.

Имеется в виду статья Рётшера «Четыре новые драмы, приписываемые Шекспиру», напечатанная в переводе В. П. Боткина в «Отеч. записках» 1840, № II (отд. II, стр. 1–24).

157.

Речь идет об апокрифической драме «Лондонский блудный сын».

158.

Эта мысль была высказана позднее Боткиным в статье «Шекспир, как человек и лирик» («Отеч. записки» 1842, № 9, отд. II, стр. 33).

159.

Речь идет о переводах трагедий Шекспира, сделанных Кетчером. См. примеч. 2 к письму 173.

160.

Вторая статья Белинского о «Деяниях Петра Великого», напечатанная в 6-й книжке «Отеч. записок» 1841 г., заканчивалась примечанием: «Предположенного продолжения статей о «Деяниях Петра Великого», по не зависящим от редакции причинам, не будет» (отд. V, стр. 18).

161.

В библиотеке Белинского сохранились второй и третий томы сочинений Беранже, 1837 г. (*Oeuvres complètes de P.-J. Beranger. Paris*).

162.

Н. Г. Белинский.

163.

Письмо это не сохранилось.

164.

Герцен был назначен советником Новгородского губернского правления. Из Петербурга он выехал 1 июля 1841 г. (ПссГ, т. II, стр. 434). См. письмо 251 и примеч. 2 к нему.

165.

Наталья Александровна Герцен, рожд. Захарьина (1817–1852). См. «Былое и думы», гл. XX, XXII–XXIV, и XLIII–L.

166.

Речь идет о письме 174. – Мишель – М. А. Бакунин.

167.

Поездка Белинского в Москву состоялась в конце декабря 1841 г.

168.

Липперт Карл Роберт, переводчик произведений. Пушкина и Лермонтова на немецкий язык, в 1841 г. заменивший в «Отеч. записках» М. Н. Каткова, как обозревателя иностранной литературы. В апрельской книжке «Отеч. записок» 1841 г. была помещена заметка о переводах Липперта и о его переезде в Петербург (отд. VII, стр. 122–124). Липперту принадлежит большая часть обзоров в «Отеч. записках» 1842 г. и статья «Греция в нынешнем своем состоянии» («Отеч. записки» 1841, № 11, отд. II, стр. 14–32 и № 12, отд. II, стр. 49–70). См. о нем ИАН, т. VIII, стр. 667–670.

169.

Повесть Кудрявцева «Звезда» была напечатана в мартовской книжке «Отеч. записок» 1841 г. (отд. III, стр. 10–43) за подписью: А. Н.

170.

Повесть Кудрявцева «Цветок», посвященная В. П. Боткину, также появилась в «Отеч. записках» 1841 г. (№ 9, отд. III, стр. 5–56) за подписью: А. Н. О повестях Кудрявцева см. письма 98, 99, 124, 149, 186.

171.

О К. Липперте см. письмо 179 и примеч. 21 к нему. Его переводы повестей Кудрявцева неизвестны. О названных повестях Кудрявцева см. письма, указанные в примеч. 2 к наст. письму.

172.

Речь идет о рецензии Кудрявцева на книгу Ф. Л. Морошкина «О значении имени руссов и славян». М., 1840, напечатанной в «Литер. газете» 1841, № 63 от 10/VI, без подписи. В ней Кудрявцев высмеял Морошкина за несостоятельную попытку произвести слово «Россия» от корней: лес, лоза и т. п.

173.

О стихотворении Лермонтова «Последнее новоселье» см. письмо 179 и примеч. 8 к нему. – На перенос праха Наполеона А. С. Хомяков откликнулся тремя славянофильскими стихотворениями: «Небо ясно, тихо море...», «Суета сует» и «Еще об нем» («Москвитянин» 1841, № 1, стр. 341–343; № 2, стр. 347–348; № 3, стр. 6).

174.

Стихотворение Лермонтова «Спор» было напечатано в «Москвитянине» 1841 г. (№ 6, стр. 291–294).

175.

Мечта Белинского о поездке за границу осуществилась лишь летом 1847 г.

176.

Проект издания альманаха более серьезно занимал Белинского в 1846 г., но и это издание (в связи с необходимостью поддержать на первых порах «Современник») не состоялось. См. письма 253–259, а также ИАН, т. XI, стр. 694.

177.

Речь идет о письме 179.

178.

Речь идет о рукописи педагога, автора учебника для глухонемых и директора училища для глухонемых в Одессе, Георгия Александровича Гурцова. В 1841 г. Гурцов привез в Петербург свой новый труд, отданный, очевидно, при посредничестве Одоевского для литературной обработки Белинскому. Эта книга не была издана. Рукопись ее неизвестна (см. ЛН, т. 56, стр. 159–160).

179.

О Гурцове см. письмо 181.

180.

19 июля 1841 г. Краевский послал это письмо В. Ф. Одоевскому со следующими строками: «Вот что пишет ко мне Белинский, в ответ на Вашу записку. Извольте читать и решать...» (ЛН, т. 56, стр. 160). Не дошедшая до нас записка Одоевского была вызвана присылкой Гурцовым для Белинского 100 руб. за выполненную критиком работу. 22 июля Краевский сообщал Одоевскому: «Вот расписка Белинского в получении денег. Он просит сказать Вам, что нисколько не в претензии на Гурцова и доволен этими 100 рублями» (там же, стр. 160). Расписка Белинского сохранилась в бумагах Одоевского (см. н. т., стр. 473).

181.

Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790–1848) – генерал-лейтенант, военный писатель и историк. Белинский положительно отзывался о его исторических трудах в статьях «Взгляд на главнейшие явления русской литературы в 1843 году» и «Русская литература в 1844 году» (см. ИАН, т. VIII, стр. 93, 487). В статье «Сто русских литераторов. Издание А. Смирдина» («Отеч. записки» 1841, № 7, отд. V, стр. 1–22) Белинский дал уничтожающий разбор исторических романов Булгарина и Загоскина. Эта статья, действительно, могла вызвать у Михайловского-Данилевского желание «подкупить» своим гостеприимством опасного критика.

182.

Перефразировка реплики Хлестакова из «Ревизора» (д. III, явл. 6).

183.

Стихотворение Н. М. Сатина «Поэту-судие» Краевский поместил, согласно желанию Белинского, в «Отеч. записках» 1841 г. (№ 8, отд. III, стр. 189).

184.

О переводах Шекспира, сделанных Кетчером, см. ИАН, т. XI, письмо 146, примеч. 2 и н. т., письмо 173, примеч. 2.

185.

В этих строках Белинский иронизирует над писателями круга «Москвитянина», намекая, в первую очередь, на Ф. Н. Глинку, автора стихотворной листовки «Москве благотворительной» 1840 г. О ней Белинский писал в специальной рецензии (см. ИАН, т. V, № 28).

186.

Проект Краевского превратить журнал «Сын отечества» в общественно-политическую и литературную газету не осуществился.

187.

Лермонтов был убит на дуэли Н. С. Мартыновым 15 июля 1841 г.

188.

О В. С. Межевиче см. ИАН т. XI, письмо 44, примеч. 3 и письмо 147, примеч. 5.

189.

Речь идет об анонимном фельетоне Булгарина «Журнальная всякая всячина», появившемся в «Сев. пчеле» 1841, № 168 от 30/VII. Разбирая биографию Пушкина, напечатанную в «Портретной и биографической галерее словесности, наук, художеств и искусств в России», Булгарин всячески порочил память великого поэта.

190.

Абд-эль-Кадер (1807–1883), вождь арабов, упорно боровшийся с французами за независимость Алжира в 1832–1847 гг.

191.

Россель Джон (1792–1878), английский государственный деятель; в 1839–1841 гг. – министр колоний, глава вигов в палате общин.

192.

Дондуков-Корсаков Михаил Александрович. См. ИАН, т. XI, письмо 145 и примеч. 14 к нему.

193.

Жена Ф. Н. Глинки (1795–1863), поэтесса, сотрудничавшая в «Москвитянине», автор религиозных стихотворений.

194.

Цитата из «Ревизора» Гоголя (д. V, явл. 8).

195.

Оба альманаха «Ластовка. Сочинения на малороссийском языке гг. Л. Боровиковского, Е. Гребенки...» 1841 г. и «Сніп український новорочник. Зкрутив Александр Корсун. Рік первій», Харків, 1841 – были рецензированы Белинским в «Отеч. записках» 1841 г., №№ 6 и 8 (см. ИАН, т. V, № № 23, 34 и примеч. к ним).

196.

А. С. Шишков (1754–1841), президент Российской академии. В статье «Сто русских литераторов» Белинский дал памфлетную характеристику Шишкова («Отеч. записки» 1841, № 1; ИАН, т. V, стр. 190–197).

197.

Федоров Борис Михайлович (1798–1875), литератор охранительного лагеря, автор известных доносов на «Отеч. записки», по предложению Шишкова был выбран в почетные члены Российской академии.

198.

См. ИАН, т. XI, письмо 151 и примеч. 11 к нему.

199.

Статья «Еще из записок одного молодого человека», напечатанная в «Отеч. записках» 1841, № 8 (отд. III, стр. 161–188), за подписью: Искандер.

200.

Дача Булгарина под Дерптом.

201.

Статья «Сочинения Александра Пушкина. Томы IX, X и XI», появившаяся в августовской книжке «Отеч. записок» 1841 г. (см. ИАН, т. V, № 32 и примеч. к ней).

202.

Судя по письму Иванова, Белинский называл в своих письмах «рыцарем чести» Шевырева.

203.

М. Т. Каченовский, в то время ректор Московского университета, придирался к документам Н. Г. Белинского, поданным в университет.

204.

Н. Г. Белинский ответил на это письмом от 4/IX 1841 г. (ЛН, т. 57, стр. 223).

205.

См. письмо 178 и примеч. 3 к нему.

206.

П. Д. Савельев, репетитор Н. Г. Белинского.

207.

Сестра Д. П. Иванова.

208.

О поездке Белинского в Москву см. письмо 188 и примеч. 3 к нему.

209.

Братья Д. П. Иванова. См. ИАН, т. XI, примеч. к письму 7 и примеч. 1 к письму 31.

210.

А. Х. Кетчер. Письма Н. Х. Кетчера к Белинскому не сохранились.

211.

О приглашении Краевским в Петербург Кетчера см. письмо 183.

212.

Письма Н. П. Огарева к Белинскому не сохранились. 1 июля н. с. 1841 г. Огарев писал Герцену из Карлсбада о том, что он видел Мадонну Рафаэля (РМ 1889, № 11, стр. 5).

213.

Белинский отвечает на письмо Боткина от 18/VII 1841 г. (см. «Литер. мысль», II, 1923, стр. 179–180).

214.

В копии Пыпина: указ. Вероятно, ошибка.